



БЕСТСЕЛЛЕР NEW YORK TIMES

# ВРЕМЯ ТИШИНЫ

как управлять  
своим вниманием  
в мире, полном  
хаоса

ДЖЕННИ ОДЕЛЛ

Психологический бестселлер (Эксмо)

Дженни Оделл

**Время тишины. Как  
управлять своим вниманием  
в мире, полном хаоса**

«ЭКСМО»

2019

УДК 159.95  
ББК 88.3

**Оделл Д.**

Время тишины. Как управлять своим вниманием в мире, полном хаоса / Д. Оделл — «Эксмо», 2019 — (Психологический бестселлер (Эксмо))

ISBN 978-5-04-181244-7

Наше внимание – это самая перспективная валюта. И ею нужно грамотно распоряжаться: тратить, экономить, вкладывать, дарить. При этом наше свободное время тонет в информационном шуме, новостях, социальных сетях и бессмысленном шопинге для снятия стресса. И что же останется, если убрать из жизни все это? Художник и писатель Дженни Оделл делится своим главным открытием в жизни: как, отстраняясь от логики потребления и приближаясь друг к другу, мы получаем все, чего так хотели на самом деле. «Время тишины» меняет представление о мире, в котором время – это деньги и польза. Перед вами революционное руководство по освобождению от сверхзанятости, которое показывает, как быть не эффективным, а счастливым. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 159.95  
ББК 88.3

ISBN 978-5-04-181244-7

© Оделл Д., 2019  
© Эксмо, 2019

# Содержание

Введение	6
Глава 1	14
Глава 2	29
Конец ознакомительного фрагмента.	35

**Дженни Оделл**  
**Время тишины. Как управлять своим**  
**вниманием в мире, полном хаоса**

Jenny Odell

HOW TO DO NOTHING

Copyright © 2019 by Jenny Odell

© Зайко Н., перевод на русский язык, 2023

© ООО «Издательство «Эксмо», 2023



## Введение

### Сохраняя полезность

*Искушение таится в складках цепочки катастроф.*  
**ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН**

Нет занятия тяжелее, чем ничего не делать. В мире, где наша ценность определяется продуктивностью, мы стараемся считать каждую минуту, максимально оптимизируем свое время или, учитывая современный уклад жизни, воспринимаем его как финансовый ресурс. Сводя свободное время к числовой оценке, мы взаимодействуем с алгоритмическими версиями друг друга, создаем и развиваем личные бренды. Кому-то упорядочение жизненного опыта приносит своего рода «инженерное» удовлетворение, при этом не избавляя от напряжения из-за чрезмерного давления и невозможности всегда быть в контексте событий. И хотя это чувство быстро растворяется в бесконечном потоке происходящего, иногда оно бывает очень обострено. Осознавая, что многое из того, что придает нашей жизни смысл, происходит случайно в результате «сбоя программы» и незапланированных встреч, мы не расстаемся с механистическим взглядом на мир, стремящимся уничтожить наше «свободное время».

Еще в 1877 году шотландский писатель и поэт Роберт Льюис Стивенсон назвал сверхзанятость «симптомом недостаточных жизненных сил» и описывал «полуживых-полумертвых, потрепанных людей, едва ли осознающих свое существование, складывающееся из череды обыденных занятий». И все-таки живем мы только один раз. Римский философ Сенека Младший в сочинении «О скоротечности жизни» описывал, какой ужас испытывает человек, оглядывающийся назад и понимающий, что жизнь утекла сквозь пальцы. Очень похоже на то, что чувствуешь, очнувшись после часа «залипания» на Facebook<sup>1</sup>:

Оглянись назад в прошлое и осознай... как много было украдено из жизни, когда ты не задумывался о том, что теряешь; как много времени потрачено в бессмысленных сожалениях, в глупой радости, в жадных желаниях, в соблазнах общества; как мало настоящей жизни досталось тебе, и ты поймешь, что умираешь еще до наступления самой жизни!

На коллективном уровне ставки гораздо выше. Мы осознаем, что живем в сложные времена, требующие серьезных решений, а они, в свою очередь, требуют того самого времени, которого никогда не хватает. Удобство безграничной коммуникации сгладило нюансы общения, отсекая при этом так много информации и смыслов. В этом бесконечном круте, где общение обесценивается, а время – это деньги, многие важные принципы угасают, а шансов понять друг друга остается гораздо меньше.

Учитывая, как сложно искусству выжить в системе, ценящей только чистую прибыль, на кону стоит и культура. Что общего у «неолиберального техноманифеста судьбы» и «культуры Трампа», так это отвращение ко всем тонкостям, ко всему «поэтическому» или менее очевидному. Подобные «пустяки» неприемлемы, потому что не могут быть использованы или присвоены привычным образом и не обеспечивают ощутимых результатов. (В этом контексте желание Трампа отказаться от финансирования Национального фонда искусств абсолютно не вызывает удивления.) В начале XX века художник-сюрреалист Джорджо де Кирико предвидел сужение горизонта своего рода деятельности как «непродуктивной». Он писал:

---

<sup>1</sup> Социальные сети Facebook и Instagram запрещены на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Здесь и далее – прим. ред.

В наш век перед лицом все более возрастающего материализма и прагматизма... скоро уже не будет странным представить общество, в котором те, кто живет ради «пищи для ума», больше не имеют права требовать своего места под солнцем. Писатель, мыслитель, мечтатель, поэт, метафизик, исследователь... все, кто пытается разгадать тайну бытия или выйти за рамки, исчезнут с лица земли, как ихтиозавры или мамонты.

Эта книга о том, как сохранить свое место под солнцем. Это практическое руководство по «ничегонеделанию» как акт противодействия экономике внимания<sup>2</sup> со всем упорством китайского дома-гвоздя, стоящего посреди главной автомагистрали. Я хочу, чтобы эта книга была полезна не только художникам и писателям, но и людям, не желающим воспринимать себя «рабочим инструментом» и, как следствие, тем, что может быть «оптимизировано».

Мой аргумент объясняется простым отказом – отказом верить, что быть здесь и сейчас среди людей почему-то недостаточно. Такие платформы, как Facebook и Instagram, пользующиеся нашим интересом к другим людям и извечной потребностью в коммуникации, манипулируют нашими естественными желаниями и извлекают из них выгоду. Уединение, созерцание и простое добрососедство не должны быть самоцелью, но их необходимо признать неотъемлемыми правами, принадлежащими любому живущему на земле.

Важно понимать, что бездействие, о котором я говорю, бессмысленно только с точки зрения капиталистической продуктивности. Ирония, заключающаяся в названии книги «Время тишины», еще и в том, что это своего рода план к действию. Хочу наметить следующую последовательность действий: 1) исключение (не имеет ничего общего с «исключением» 1960-х); 2) уход от вещей и людей; 3) возвращение к «здесь и сейчас». Если не проявить бдительности, большинство технологий будет препятствовать нам на каждом этапе пути, намеренно создавая ложные цели для саморефлексии, играя на нашем любопытстве и желании быть как все. Когда мы жаждем своего рода побега, стоит задаться вопросом: «Что означало бы «вернуться на место», если мы называем местом то, где находимся прямо сейчас? Может ли «дополненная реальность» просто означать «отключение телефона»? И что (или кто) останется перед нами, когда мы наконец это сделаем?»

Эта книга ищет скрытые источники двусмысленности и неэффективности на выжженном поле неолиберального детерминизма. Это комплексный обед из четырех блюд в эпоху сойлента<sup>3</sup>. И хотя, надеюсь, вы найдете облегчение в простом приглашении притормозить и задуматься, я не имею в виду, что это будет «книгой выходного дня» или трактатом о творчестве. Смысл «бездействия», как его понимаю я, не в том, чтобы вернуться к работе отдохнувшим и готовым к большей продуктивности, а, скорее, в том, чтобы задаться вопросом: что мы в настоящее время считаем продуктивным? Мой аргумент очевидно антикапиталистический, особенно в отношении технологий, которые поощряют капиталистическое восприятие времени, места, себя и сообщества. Это также связано с окружающей средой и историей: я предполагаю, что изменение маршрута и усиление внимания к месту, вероятно, приведут к осознанию своего участия в истории и в более чем человеческом сообществе. С социальной или экологической точки зрения конечная цель «бездействия» – переместить фокус с экономики внимания на общественную, физическую сферу жизни.

Я не противник технологий. В конце концов, есть формы технологий – от инструментальных, позволяющих наблюдать за миром природы, до децентрализованных, некоммерческих социальных сетей, позволяющих нам более полно ощущать себя частью происходящего.

---

<sup>2</sup> Экономика внимания – теория, согласно которой внимание людей становится самым важным ресурсом и вокруг него разворачивается конкурентная борьба. (Прим. ред.)

<sup>3</sup> Сойлент – растворимый порошок, заменитель еды.

Скорее, я против того, чтобы корпоративные платформы покупали и продавали наше внимание, а также против разработки и внедрения технологий, которые закрепляют узкое понимание производительности и игнорируют насущное, чувственное и поэтическое.

Меня беспокоит влияние современных социальных сетей на самовыражение, в том числе на право не выражать себя, и их намеренно вызывающие привыкание функции. Но главное зло здесь необязательно сам интернет или даже идея социальных сетей; это агрессивная логика коммерческих социальных платформ и их финансовый стимул держать нас в коммерчески выгодном состоянии тревоги, зависти и рассеянного внимания. Более того, это культ индивидуальности и личного брендинга, произрастающий из таких платформ и искажающий наше представление о себе «офлайн» и о месте, где мы на самом деле живем.

Хочу подчеркнуть, куда бы меня ни забросила жизнь, эта книга была создана в районе залива Сан-Франциско, где я выросла и живу в настоящее время. Это место известно благодаря двум вещам: высокотехнологичным компаниям и природному великолепию. Здесь вы можете прокатиться напрямик на запад, от офисов венчурных компаний на Сэнд-Хилл-роуд в секвойный лес с видом на море или, выйдя из кампуса Facebook, прогуляться до солончака, полного куликов. Когда я росла в Купертино, иногда мама брала меня с собой, отправляясь в офис Hewlett-Packard, где однажды я даже примерила раннюю версию VR-гарнитуры. Безусловно, много времени я проводила за компьютером. Но также часто мы всей семьей отправлялись на длительные прогулки среди дубов и секвой в парке Биг-Бэйсин или вдоль скал на пляже Сан-Грегорио. Летом меня отправляли в детский лагерь в Санта-Круз, где год за годом приходилось заучивать на латыни *Sequoia sempervirens*.

Я – художник и писатель одновременно. В начале 2010-х, возможно, из-за использования компьютерных технологий в художественных произведениях или из-за проживания в Сан-Франциско мое творчество отнесли к категории «искусство и технологии». Но единственное, что мне требовалось от компьютерных технологий, так это чтобы они помогли полнее раскрыть физическую реальность, и именно к этому я была по-настоящему равнодушна. В результате меня не покидало странное ощущение: так чувствует себя человек, которого приглашают на техническую конференцию, но который предпочел бы наблюдать снаружи за птицами. Это всего лишь один из двух противоречивых аспектов моей личности: во-первых, как «двурасового» человека, а во-вторых, как человека, создающего «цифровое искусство» о физическом мире. Я работала как художник в таких странных местах, как Recology SF (также известном как «Свалка»), Департамент планирования Сан-Франциско и интернет-архив. И все это время у меня было двойное отношение к Кремниевой долине: как к памятному уголку моего детства и как к источнику зарождения экономики внимания.

Иногда полезно застревать посередине, даже если это не совсем удобно. Многие идеи данной книги зародились в годы обучения студийному искусству, когда я пыталась доказать его важность ведущим дизайнерам и инженерам Стэнфорда, в большинстве своем не видящих в этом никакого смысла. Единственная производственная практика в моем классе цифрового дизайна – это просто прогулка, и иногда мои ученики сидели на улице и ничего не делали в течение пятнадцати минут. Я понимаю, что это мой способ на чем-то настаивать. Вглядываясь в горы на горизонте и не оставляя мыслей о стремительно развивающейся предпринимательской культуре, я не могу не задаваться вопросом: каково это – создавать цифровые миры, в то время как реальный мир рушится буквально на глазах?

Странные занятия в моем классе являются и своего рода успокоительным. Глядя на своих учеников – да и просто знакомых людей, – я вижу столько энергии, столько активности и столько беспокойства. Я вижу людей, зависящих не только от уведомлений гаджетов, но и от мифов о производительности и прогрессе, неспособных не только расслабляться, но и просто замечать мир вокруг. Летом, работая над этой книгой, я стала свидетелем бесконечных



катастрофических лесных пожаров. Эти леса, как и место, где вы сейчас находитесь, требуют, чтобы их услышали. Я думаю, нам следует прислушаться.

Давайте начнем с холмов в предместьях Окленда, города, в котором я сейчас живу. В Окленде есть два знаменитых дерева. Первое – это дерево Джека Лондона, гигантский живой дуб на побережье перед зданием мэрии, красующийся на гербе города. Второе, спрятавшееся среди холмов, менее известно. По прозвищу «Дедушка» или «Долгожитель», это единственное уцелевшее древнее красное дерево Окленда, чудесный пятисотлетний памятник тех времен, когда в ходе золотой лихорадки были вырублены все древние секвойи. Хотя большая часть Беркли-Хиллз покрыта зарослями секвойи, все эти деревья являются «вторичными», выросшими из пней предков, которые когда-то были одними из самых больших на всем побережье. До 1969 года жители Окленда полагали, что все старые деревья исчезли, пока один натуралист не наткнулся на «Долгожителя», гордо возвышающегося над «собратями». С тех пор древнее дерево будоражит умы, о нем пишут статьи, к нему устраивают групповые экскурсии и даже снимают о нем документальные фильмы.

Прежде, еще до вырубки, среди старых секвой Беркли-Хиллз были и навигационные деревья – настолько высокие, что моряки в заливе Сан-Франциско использовали их как ориентир, чтобы держаться подальше от опасной подводной Цветущей скалы (впоследствии инженерные войска взорвали ее). И хотя «Долгожитель» не был одним из них, мне почему-то нравится думать о нем как о своего рода вспомогательном средстве навигации. Это высохшее дерево может преподать нам несколько уроков, созвучных идеям, которые я попытаюсь обозначить в этой книге.

Первый урок касается сопротивления. Легендарная уникальность «Долгожителя» заключается не только в его возрасте и феноменальной жизнеспособности, но и в загадочном местоположении. Даже тем, кто вырос в походах по Беркли-Хиллз, может быть сложно его найти. Обнаружив «Долгожителя», вы все равно не сможете подобраться близко к нему – он находится на крутом скалистом склоне, подъем по которому требует серьезных усилий. Это одна из причин, по которой дерево уцелело при вырубке; другая причина связана с его скрученной формой и невероятной высотой: двадцать восемь метров (хоть и коротышка по сравнению с древними секвойями). Другими словами, «Долгожитель» выжил в основном потому, что не казался лесорубам особо привлекательным.

Эта история напоминает мне притчу, чье название часто переводят как «Бесполезное дерево» (из собрания сочинений «Чжуан-цзы», приписываемых Чжуан Чжоу, китайскому философу IV века). В ней рассказывается о плотнике, увидевшем дерево (по одной из версий, пильчатый дуб, похожий на наш прибрежный) внушительных размеров и возраста. Но плотник проходит мимо, объявив его «никчемным деревом» только потому, что корявые ветви не годятся для досок. Вскоре после этого дерево является ему во сне и спрашивает: «Ты сравниваешь меня с этими «полезными» деревьями?» И указывает плотнику на деревья с плодами или пригодные для древесины, которые регулярно уничтожаются. Между тем «бесполезность» и была стратегией этого дерева. «Это очень важно для меня. Будь я чем-то полезным, выросло бы я до таких размеров?» – продолжает дерево. Дерево отвергает различие между полезностью и ценностью, проводимое человеком, который видит в деревьях только потенциальную древесину: «Какой в этом смысл? Всего лишь пустые слова. Ты всего лишь никчемный человек, твой век недолог. Как ты можешь говорить о том, что я никчемное дерево?» Легко представляю себе, как эти слова «Долгожитель» произносил в адрес лесорубов XIX века, небрежно пропустивших его, менее чем за столетие до того, как мы начали понимать, что потеряли.

Формулировка «польза бесполезности» типична для Чжуан Чжоу, часто использовавшего противопоставления и алогичные заключения. Но как и другие его утверждения, это не парадокс ради парадокса, а наблюдение за социальным миром, который сам по себе является

парадоксом, определяемым лицемерием, невежеством и алогичностью. В таком обществе для человека, стремящегося к скромной и нравственной жизни, определенно все будет наоборот: для него хорошее будет плохим, рост – падением, продуктивность – разрушением и, действительно, бесполезность – полезной.

Если позволите расширить эту метафору, я скажу, что «Долгожитель» был слишком необычным или труднодоступным, чтобы так легко оказаться на лесопилке. Таким образом, дерево дает мне образ «сопротивления на месте». Сопротивляться на месте – значит принять такую форму, которая не может быть с легкостью присвоена капиталистической системой ценностей. Это отказ от общепринятой системы координат, в данном случае той, в которой ценность определяется производительностью, успешной карьерой и индивидуальным предпринимательством, а также принятие и попытки внедрения несколько более расплывчатых идей: поддержание жизненного баланса как продуктивности, важность невербального общения и простого проживания жизни как высшей цели. Это означает и торжество формы самосознания, меняющейся со временем и выходящей за рамки алгоритмического определения, когда идентичность не всегда определяется границами индивидуальности.

В среде, ориентированной на капиталистическое присвоение даже самых незначительных наших мыслей, делать это не менее дискомфортно, чем носить неформальную одежду в месте со строгим дресс-кодом. Как я покажу на различных примерах, чтобы оставаться в этом состоянии, требуются стремление, дисциплина и воля. Ничего не делать – это тяжело.

ДРУГОЙ УРОК, предлагаемый нам «Долгожителем», связан с его функцией свидетеля и памятника. Даже самый убежденный материалист должен признать, что «Долгожитель» отличается от рукотворного памятника тем, что он, в конце концов, живой. В одном из выпусков общественной газеты MacArthur Metro за 2011 год покойный Гордон Лаверти, бывший в то время работником муниципального коммунального округа Ист-Бэй, и его сын Ларри написали хвалебную песнь «Долгожителю»: «Живет один парень высоко на склоне холма в соседнем парке Леона. Он был свидетелем нашего безумия с тех пор, как люди появились в Окленде. Его зовут «Долгожитель». Это дерево породы секвойя, и оно очень старое». Они представляют дерево свидетелем истории: от охоты и собирательства народа олони до прибытия испанцев с мексиканцами и белых спекулянтов. Философия дерева – неизменная по сравнению с последовательными безумствами вновь прибывших – в конечном счете становится источником вдохновения для Лаверти: «Долгожитель» все еще стоит... как стражник, напоминающий нам о том, что нужно делать правильный выбор».

Я вижу его так же. «Долгожитель» – это прежде всего безмолвное свидетельство вполне реального прошлого, как природного, так и культурного. Смотреть на дерево – значит смотреть на то, что зародилось посреди совершенно другого, неузнаваемого мира: где люди сохраняли природный баланс, а не разрушали его, где форма береговой линии еще не изменилась, где обитали медведи гризли, калифорнийские кондоры и кижуч (все они исчезли из Восточного залива еще в XIX веке). Это не выдумка. На самом деле это было не так давно. Точно так же, как жизнь иглам «Долгожителя» дают его древние корни, настоящее берет начало из прошлого. Корни – это как раз то, в чем мы отчаянно нуждаемся, потерявшись в настоящем.

Эти два урока должны дать вам представление о том, что я хочу сказать в своей книге. «Бездействие» – это уход от экономики внимания, но одновременно и нечто другое. И это не что иное, как пространство и время, возможность, обретаемая только на уровне внимания. В конечном счете, выступая против безразличия оптимизированной жизни, проведенной в сети, я привожу доводы в пользу новой «пространственности», дающей чувствительность и ответственность перед историческим (что здесь произошло) и экологическим (кто живет или жил здесь).

В этой книге я понимаю биорегионализм как способ снова начать думать о месте. Биорегионализм, чьи принципы были сформулированы экологом Питером Бергом в 1970-х годах и широко распространены в духовных практиках коренных народов, связан с осознанием не только многих форм жизни в определенном месте, но и их взаимосвязи друг с другом, в том числе и с людьми. Философия биорегионализма не только охватывает такие вопросы, как восстановление среды обитания и пермакультурное земледелие<sup>4</sup>, но также имеет и культурную составляющую, поскольку требует от нас идентифицировать себя как граждан биорегиона в той же мере (если даже не больше), как и в государстве. Наше «гражданство» в биорегионе означает не только знакомство с местной экологией, но и обязанности по ее совместному сохранению.

Для меня важно связать критику экономики внимания с биорегиональной философией – я считаю, что капитализм, колониальное мышление, отстранение и оскорбительное отношение к окружающей среде тесно взаимосвязаны. Также можно провести определенную параллель между влиянием экономики на экологическую систему и воздействием экономики внимания на наше внимание. В обоих случаях наблюдается тенденция к агрессивной монокультуре, когда компоненты, которые рассматриваются как «бесполезные» и не могут быть присвоены (лесорубами или Facebook), искореняются в первую очередь. Поскольку это основывается на ложном понимании жизни как атомизированной и поддающейся оптимизации, такой взгляд на «полезность» не позволяет распознать экосистему как живое целое, которому на самом деле для функционирования нужны все его части. Подобно тому, как лесозаготовки и сельское хозяйство уничтожают землю, чрезмерный упор на производительность превращает то, что когда-то было густым и процветающим полем индивидуальной и общественной мысли, в ферму Monsanto<sup>5</sup>, «производство» которой медленно разрушает почву, пока на ней уже больше ничего не может вырасти. Уничтожая одну форму мысли за другой, он ускоряет эрозию внимания.

Почему современная идея продуктивности, доведенная до грани, так часто приводит к разрушению естественной продуктивности экосистемы? Это похоже на парадокс из истории Чжуан Чжоу, заставляющий задуматься о том, насколько узким является понятие «полезности». Когда дерево является плотнику во сне, оно, по сути, спрашивает его: польза для чего? В самом деле, это тот же вопрос, который возникает у меня, когда я позволяю себе отойти от современного – капиталистического – понимания производительности и успеха. Что дает производительность? Успешно в каком смысле и для кого? Самыми счастливыми и наполненными для меня были те моменты, когда я полностью осознавала, что живу, со всеми надеждами, болью и печалью как неотъемлемой частью существования любого смертного существа. В такие моменты идея успеха как телеологической цели не имела бы смысла; моменты были самоцелью, а не ступеньками к ней. Я думаю, что люди во времена Чжуан Чжоу испытывали те же чувства.

В начале притчи о бесполезном дереве есть важная деталь. Во многих версиях истории упоминается, что корявый дуб был настолько большим и широким, что мог укрыть своей тенью «стадо в несколько тысяч быков» или даже «тысячи упряжек лошадей». Форма бесполезного дерева не просто защищает его от плотника, она позволяет заботиться о тысячах животных, ищущих убежища, тем самым обеспечивая основу для самой жизни. Я представляю себе целый лес из бесполезных деревьев с густо переплетенными ветвями, обеспечивающий неприступную среду обитания для птиц, змей, ящериц, белок, насекомых, грибов и лишайников. И когда-нибудь через эту щедрую, затененную и «бесполезную» среду может пройти усталый путник из «страны полезности», плотник, сложивший свои инструменты. Может быть, после всех блуж-

---

<sup>4</sup> Подход к сельскому хозяйству, основанный на взаимосвязях из естественных экосистем.

<sup>5</sup> Американская многоотраслевая транснациональная компания, мировой лидер биотехнологии растений. (Прим. ред.)

даний он сможет принять приглашение животных и сесть под дубом? Может быть, впервые в жизни он по-настоящему отдохнет.

Читая книгу, вы обнаружите, что, как и «Долгожитель», она имеет нестандартную форму. Выводы и наблюдения, сделанные мной, не являются последовательными, взаимосвязанными и логическими частями одного целого. В процессе написания некоторые вещи меняли мое мнение и восприятие, а затем, спустя время, меняли их вновь – я накапливала эти изменения. Закончив книгу, я была уже совершенно другим человеком, нежели вначале. Итак, не считайте это простым изложением информации, скорее, эссе в широком смысле слова – в его первоначальном смысле (путешествие, дорога вперед). Это не столько лекция, сколько приглашение на прогулку.

Первая глава книги – переработка эссе, написанного весной после выборов 2016 года, о личном кризисном состоянии, которое привело меня к потребности ничего не делать. В этой главе я начинаю определять некоторые из своих самых серьезных претензий к экономике внимания, а именно ее зависимость от страха и тревоги и сопутствующую ей философию, согласно которой «разрушение» более «продуктивно», чем работа по поддержанию жизненного баланса – по поддержанию благоприятных условий жизни для себя и других. Написанное посреди онлайн-среды, в которой я больше ничего не могла понять, эссе было призывом от имени моего «пространственно-временного» первобытного начала; как и ученый, пишущий о технологиях, Джарон Ланье, я стремилась «отбросить всю шелуху».

Одной из ответных реакций на происходившее со мной было желание отправиться в горы – навсегда. Во второй главе я рассматриваю людей и группы, выбравшие подобный подход. Контркультурные коммуны 1960-х годов, в частности, могут многое рассказать о проблемах, связанных со стремлением вырваться из капиталистической реальности, а также о неудачах, связанных с попытками вообще уйти от политики. Это первое упоминание о различии, которое я буду проводить между 1) полным уходом от мира (или даже просто от других людей) и 2) выходом за рамки экономики внимания и чрезмерной зависимости от фильтрованного общественного мнения.

Это различие также лежит в основе идеи отказа – предмета моей третьей главы. Взяв реплику из книги Германа Мелвилла «Писец Бартлби», который отвечает не «Я не буду», а «Я бы предпочел не», я обращаюсь к истории отказов, чтобы найти ответы, опровергающие условия самой постановки вопроса. И я пытаюсь показать, как творческое пространство отказа находится под угрозой во время широко распространенной экономической нестабильности, когда все – от рабочих Amazon до студентов колледжей – видят, что границы этого пространства сжимаются, а ставки игры в одиночку растут. Размышляя, что нужно для того чтобы позволить себе отказаться, я полагаю, что перенаправление и расширение внимания могут стать той точкой «надлома», где можно разорвать бесконечный цикл между испуганным, плененным вниманием и экономической незащищенностью.

Четвертая глава вырастает в основном из моего опыта художника и преподавателя, давно интересующегося тем, как искусство открывает нам новые уровни и оттенки внимания. Я обращаюсь как к истории искусства, так и к перспективным исследованиям, стараясь разобраться во взаимосвязи между вниманием и волей – чтобы мы могли не только отстраниться от экономики внимания, но и научиться управлять собственным вниманием. Эта глава также основана на первом личном опыте изучения моего биорегиона, когда я с новой силой приковывала внимание к месту, в котором прожила всю жизнь.

Если мы можем использовать внимание для освоения новой реальности, то из этого следует, что мы могли бы встретиться там, фокусируясь на одних и тех же вещах и друг на друге. В пятой главе я исследую и пытаюсь устранить ограничения, которые «фильтр интересов» накладывает на восприятие нами окружающих людей. Затем я попрошу вас расширить его

еще больше, уделив такое же внимание миру, не относящемуся к человеческому. В конечном счете я выступаю за представление о себе и идентичность, которая прямо противоположна личному бренду: как нечто нестабильное, постоянно меняющейся формы, определяемое взаимодействиями с другими субъектами и разными местами.

В последней главе я пытаюсь представить утопическую социальную сеть, которая каким-то образом могла бы вместить все это. Я использую призму первичных потребностей человека в пространственном и временном контексте, чтобы подчеркнуть всю жестокость «схлопывания контекста» в онлайн-среде, и предлагаю вместо него своего рода «разнообразие контекста» в привязке к месту.

Понимая, что значимые идеи требуют инкубационного времени и пространства, я останавливаюсь как на некоммерческих децентрализованных сетях, так и на непреходящей важности частного общения и личных встреч. Я предлагаю освободить наше внимание и использовать его для восстановления биологических и культурных экосистем, позволяющих сформировать полноценную идентичность, как индивидуальную, так и коллективную.

Летом, во время напряженной работы над книгой, надо мной не раз подшучивали друзья, мол, почему я так усердно создаю что-то под названием «Время тишины». Но настоящая ирония заключается в том, что, написав нечто под таким названием, я непреднамеренно радикализировала себя, осознавая всю важность того, чтобы *что-то делать*. Как художник я всегда думала о внимании, но только сейчас полностью понимаю, к чему ведет жизнь с устойчивым вниманием. Короче говоря, это ведет к осознанию не только того, как мне повезло, что я живу на свете, но и текущих моделей культурного и экологического опустошения вокруг меня – и к неизбежной роли, которую я играю в этом, независимо от того, признаю это или нет. Другими словами, простое осознание – это семя ответственности.

В какой-то момент я начала думать, что это книга-побуждение, замаскированная под книгу о самопомощи. Я сама до конца в этом не уверена. Но как бы я ни надеялась, что этой книге есть что предложить вам, я также надеюсь, что в ней есть что-то, что может способствовать пробуждению, в первую очередь предоставляя передышку тем, кто встает на путь борьбы за правые идеалы.

Я надеюсь, что «бездействие» в противовес среде, ориентированной на продуктивность, поможет восстановиться людям, которые затем помогут восстановиться сообществам, как человеческим, так и прочим. И прежде всего я надеюсь, что это поможет найти новые способы связи – существенные, устойчивые и абсолютно невыгодные для корпораций, чьи показатели и алгоритмы никак не будут влиять на разговоры о наших мыслях, чувствах и жизни.

Я узнала кое-что о внимании: некоторые его формы заразны. Когда вы проводите достаточно времени с кем-то, кто уделяет чему-то пристальное внимание (если бы вы водились со мной, это были бы птицы), то неизбежно начинаете интересоваться теми же самыми вещами. Я также узнала, что паттерны внимания (что мы предпочитаем замечать, а что – нет) – это наш способ отображения реальности и, следовательно, он имеет прямое отношение к тому, что, по нашему мнению, может произойти в любой момент времени. Эти аспекты, вместе взятые, показывают мне революционный потенциал отвоевания нашего внимания. Для капиталистической логики, процветающей на близорукости и неудовлетворенности, действительно может скрываться опасность в чем-то столь обыденном, как «бездействие»: отстраняясь от нее и приближаясь друг к другу, мы можем попросту обнаружить – все, что мы так хотели, уже у нас есть.

## Глава 1

### Пример ничегонеделания

*\* просыпается и смотрит на телефон\**

*«ах, давай посмотрим, какие новые ужасы меня ждут на устройстве свеженьких ужасов»*

***TWIT @MISSOKISTICINA OT 10 НОЯБРЯ 2016 ГОДА***

В начале 2017 года, вскоре после инаугурации Трампа, меня попросили выступить с основным докладом на Еуео, конференции по искусству и технологиям в Миннеаполисе. Меня все еще лихорадило от выборов, и как и многим другим художникам, которых я знала, было трудно продолжать что-либо делать. Вдобавок ко всему Окленд был в трауре после пожара на «Корабле-призраке»<sup>6</sup> в 2016 году, унесшего жизни многих художников и общественных деятелей. Глядя на пустое поле, в которое нужно было ввести название доклада, я думала, о чем могла бы рассказать, что могло бы иметь значение в такой момент. Еще не зная, о чем будет разговор, я просто напечатала: «Как ничего не делать».

После этого я решила провести дискуссию в определенном месте: в Морком Роуз Гарден в Окленде, Калифорния, иначе известном просто как Розарий. Я сделала это отчасти потому, что именно в Розовом саду начала продумывать свое выступление. Но также я осознала, что сад включает в себя все, что мне хотелось охватить: практика ничегонеделания, архитектура «ничего», важность общественного пространства, этика ухода и обслуживания.

Мой дом находится в пяти минутах ходьбы от Розового сада, и с тех пор как я переехала в Окленд, это первое место, куда я убегаю от компьютера, где делаю большую часть своей работы, занимаюсь творчеством и прочим. А после выборов я стала ходить в Розарий почти каждый день.

Это было не осознанным решением, а, скорее, внутренним позывом, как у оленя, постоянно стремящегося найти соль, или козы, скачущей на вершину холма. Что я делала там – ничего. Просто сидела. И хотя мне было немного не по себе от того, насколько все выглядело нелепо – красивый сад против ужасающего мира, – это действительно казалось необходимой тактикой выживания. Я узнала это чувство в отрывке из «Переговоров» Жилия Делёза:

Мы пронизаны бессмысленными разговорами, безумным количеством слов и образов. Глупость никогда не бывает слепой и немой. Таким образом, проблема заключается не в том, чтобы заставить людей выражать свое мнение, а в том, чтобы оставить их на непродолжительное время в уединении и тишине, когда они, в конце концов, могут найти что сказать. Репрессивные силы не мешают, а, скорее, заставляют людей выражать себя; какое облегчение, когда можно молчать, есть право ничего не говорить, потому что только тогда появляется шанс представить ту самую, все более редкую вещь, о которой в принципе стоит говорить.

Он написал это в 1985 году, но я могу подтвердить, что настроение в 2016-м все то же почти до боли. Функция «ничего» здесь – чтобы ничего не говорить – в том, что оно предшествует тому, чтобы что-то сказать. «Ничего» – это не роскошь и не пустая трата времени, а необходимая часть осмысленной речи.

---

<sup>6</sup> Здание бывшего склада, известного как «Корабль-призрак», было переоборудовано под мастерские художников и жилые помещения в 2013 году. (Прим. ред.)



Конечно, как художник я давно ценила возможность ничего не делать – или, точнее, «делать ничего». Я была известна тем, что собирала сотни скриншотов ферм или прудов с химическими отходами из Google Earth, вырезала их и составляла композиции, похожие на мандалы. В «Бюро отстраненных предметов», проекте, над которым я работала, проживая в Recology SF, я потратила три месяца, фотографируя, каталогизируя и исследуя происхождение двухсот выброшенных на свалку вещей. Я представила их в виде просматриваемого архива, в котором люди могли увидеть рукописную бирку рядом с каждым объектом и узнать о его производстве, материале и истории компании. На открытии ко мне повернулась смущенная и полная негодования женщина со словами: «Подождите... так вы вообще что-нибудь сделали? Или вы просто разложили вещи по полкам?» Я часто говорю, что для меня важен контекст, поэтому ответ был положительным на оба вопроса.

В большей степени я выбрала такой формат, потому что считаю существующие вещи гораздо более интересными, чем все, что могла бы сделать сама. «Бюро отстраненных предметов» было для меня просто поводом разглядывать удивительные вещи на свалке – перчатку Nintendo Power Glove, нагромождение банок 7UP двухсотлетнего выпуска, банковскую книгу 1906 года – и уделить каждому объекту особое внимание. Это всепоглощающее увлечение чьими-то предметами я назвала «эросом наблюдений». Нечто подобное есть во введении к «Консервному ряду» Джона Стейнбека, где он описывает терпение и заботу, связанные с внимательным наблюдением за особями:

Когда вы собираете морских животных, встречаются плоские черви, настолько тонкие, что их практически невозможно поймать целиком, поскольку они рвутся от прикосновения. Вы должны позволить им просочиться и заползти по лезвию ножа, а затем осторожно погрузить их в бутылку с морской водой. И возможно, это может быть способом написать эту книгу – открыть страницу, и пусть истории ползут сами по себе.

К слову сказать, наверное, неудивительно, что одно из моих любимых произведений паблик-арта принадлежит режиссеру-документалисту. В 1973 году Элинор Коппола реализовала проект паблик-арта под названием «Окна», который, в сущности, состоял только из карты с датой и списком мест в Сан-Франциско. Согласно формуле Стейнбека, окна в каждом месте были бутылками, а все, что происходило за ними, было рассказами, которые «заползли внутрь». Карта Копполы гласит:

Элинор Коппола отметила окна во всех частях Сан-Франциско как визуальные ориентиры. Ее цель в этом проекте – привлечь внимание сообщества к искусству, которое существует в своем собственном контексте, где оно находится, не изменяясь и не удаляясь, независимо от галереи.

Мне нравится рассматривать это произведение в сравнении с другими проектами паблик-арта. Как правило, они представляют собой гигантскую стальную вещь, которая выглядит так, как будто приземлилась на общественную площадку из космоса. Вместо этого Коппола бросает тонкую рамку на весь город; легкий, но значимый штрих, распознающий искусство, которое существует там, где оно уже есть.

Более поздний проект, производящий схожее впечатление, – это «Воодушевленные аплодисменты» Скотта Полаха. Он был организован в Национальном парке Кабрильо в Сан-Диего в 2015 году. На скале с видом на море, за сорок пять минут до заката, встречающий регистрировал гостей в специальной зоне, уставленной раскладными креслами и формально обнесенной красной веревкой. Их провожали на свои места и напоминали, чтобы они не фотографировали. Гости наблюдали закат, и, когда солнце садилось, все аплодировали. После этого подавались закуски.

Эти проекты имеют нечто общее. В каждом из них художник создает структуру – будь то карта или огороженная территория (или даже скромный набор полок), – которая удерживает пространство для созерцания вопреки силе привычки, знаниям и отвлекающим факторам, которые часто представляют собой угрозу. Об этой привлекающей внимание архитектуре я часто думаю в Розовом саду. В отличие от типичного плоского квадратного сада с рядами роз он расположен на холме с бесконечной системой дорожек и лестниц, проходящих вокруг кустов роз, решеток и дубов. Я заметила, что в саду люди ходят очень медленно, останавливаются и нюхают розы. Существует, вероятно, сотня возможных маршрутов по саду и столько же мест, где можно посидеть. С архитектурной точки зрения Розовый сад определенно хочет, чтобы вы задержались там на какое-то время.

Вы можете увидеть этот эффект в действии в круговых лабиринтах, созданных не для чего иного, как для вдумчивой ходьбы. Лабиринты функционируют аналогично тому, как они выглядят, обеспечивая своего рода плотное сосредоточение внимания; только благодаря двумерному дизайну они позволяют не пересекать пространство насквозь и не стоять на месте, а двигаться сквозь что-то манящее внутри них самих. Я обнаружила, что тяготею к такого рода местам – библиотекам, маленьким музеям, садам, колумбариям – из-за их способности раскрывать тайные и разнообразные перспективы даже на довольно небольшой территории.

Но, конечно, это сосредоточение внимания необязательно должно быть осязаемым или визуальным. В качестве аудиопримера я обращаюсь к Deep Listening<sup>7</sup>, наследию музыканта и композитора Полины Оливерос. Имея классическое музыкальное образование, Оливерос преподавала экспериментальную музыку в Калифорнийском университете в Сан-Диего в 1970-х годах. Она начала разрабатывать совместные групповые техники (такие как выступления, в которых люди слушали и импровизировали, как бы отвечая друг другу и окружающей звуковой среде), где звук был призван привести к умиротворению в атмосферу насилия и беспорядков времен войны во Вьетнаме.

Deep Listening было одним из таких способов. Оливерос определяет эту практику как «всестороннее слушание всего, что только можно услышать, независимо от того, что вы делаете. Такое интенсивное слушание включает в себя восприятие звуков повседневной жизни, природы, собственных мыслей, а также музыки». Она проводила различие между слушанием и слышанием: «Слышать – это физический процесс, обеспечивающий слуховое восприятие. Слушать – значит уделять внимание тому, что воспринимается как акустически, так и психологически». Целью и главным достижением Deep Listening было обострение восприимчивости и изменение обычного культурного опыта, который учит нас быстро анализировать и делать выводы, а не просто наблюдать.

Узнав о Deep Listening, я поняла, что некоторое время практиковала его невольно – только в контексте наблюдения за птицами. Мне всегда казалось забавным, что это называется наблюдением за птицами, потому что половину (если не больше!) времени, наблюдая за птицами, вы их на самом деле слушаете. (Я лично считаю, что «наблюдение» должно быть переименовано в «заметки о птицах».) Как бы то ни было, эта практика имеет много общего с Deep Listening – наблюдение за птицами требует от вас буквально «бездействия». Наблюдение за птицами – это противоположность поиску чего-либо в интернете. Вы действительно не можете искать птиц, вы не можете заставить птицу выйти и идентифицировать себя. Самое большее, что вы можете сделать, – это подойти тихо и дождаться какого-либо звука, а затем стоять неподвижно под деревом, руководствуясь своими животными чувствами, чтобы выяснить, где и что это.

В наблюдении за птицами меня поразило и тронуло то, как оно изменило детализацию моего восприятия, которая, к слову, была довольно «низкой». Сначала я стала больше заме-

---

<sup>7</sup> Глубокое слушание (пер. с англ.).

чать пение птиц. Конечно, я всегда обращала на него внимание, но теперь слышала его почти везде, весь день, все время. А потом, одну за другой, начала выучивать каждую песню и ассоциировать ее с птицей; так что теперь, направляясь в Розарий, я невольно воспроизвожу их у себя в голове, как если бы они были людьми: «Привет, ворон, малиновка, певчий воробей, синица, щегол, тауи, ястреб, поползень...» и так далее. Звуки стали мне настолько знакомы, что я больше не пытаюсь их идентифицировать; вместо этого они регистрируются как речь. Это может показаться знакомым любому, кто когда-либо изучал другой (человеческий) язык, будучи взрослым. Действительно, диверсификацию того, что раньше называлось «птичьим пением» – отдельными звуками, которые что-то значат для меня, – я могу сравнить только с моментом, когда поняла, что моя мама говорила на трех языках, а не на двух.

Мама всегда разговаривала со мной только по-английски, и в течение долгого времени я предполагала, что всякий раз, общаясь с другим филиппинцем, она говорит на тагальском языке. У меня не было веских причин думать так – я просто знала, что она действительно говорит на тагальском, и все это звучало для меня как тагальский. Но на самом деле мама говорила на тагальском очень редко. В большинстве случаев она использовала илонгго, а это совершенно другой язык страны, откуда она родом. Языки не совпадают, и один из них не является диалектом другого. На самом деле на Филиппинах полно языковых групп, которые, по словам моей мамы, имеют так мало общего, что говорящие не смогли бы понять друг друга, и тагальский – только один из них.

Это неловкое открытие – когда то, что вы считали одним целым, на самом деле представляет собой две вещи, а каждая из них имеет еще десять составляющих – касается продолжительности и качества нашего внимания. Приложив усилия, мы можем настраиваться на вещи, улавливать, а затем, надеюсь, различать все более и более тонкие частоты каждый раз.

Очень важно, что момент остановки, чтобы прислушаться, имеет нечто общее с архитектурой (наподобие лабиринта), удерживающей внимание: каждый по-своему совершает своего рода прерывание, выпадение из привычной среды. Каждый раз, когда вижу или слышу необычную птицу, время останавливается, и позже я задаюсь вопросом, где была все это время; точно так же, как блуждание по незнакомому секретному проходу может ощущаться выпадением из линейного времени. Даже если они кратковременные или мимолетные, эти места и моменты являются уединением и, как и более долговременное уединение, влияют на наше восприятие повседневной жизни, когда мы действительно к ней возвращаемся.

Место для Розового сада при возведении в 1930-х годах было выбрано специально из-за естественной чашеобразной формы ландшафта. Пространство ощущается физически и акустически замкнутым, заметно отделенным от всего, что его окружает. Когда вы сидите в Розовом саду, то действительно *сидите* в нем. Точно так же лабиринты в силу своей формы привлекают наше внимание к их маленькому округлому пространству. Ребекка Солнит в книге «Страсть к путешествиям», описывая прогулку по лабиринту внутри собора Грейс в Сан-Франциско, говорит, что с трудом ощущала себя в городе: «Круг был настолько захватывающим, что я потеряла из виду людей поблизости и почти не слышала гула улицы и колоколов, пробивших шесть часов».

Это не новая идея, и она также применима к более длительному периоду времени. Большинство людей пережили – или знают кого-то, кто пережил, – период «удаления», коренным образом изменивший их отношение к миру, куда они впоследствии вернулись. Иногда это вызвано чем-то ужасным, например болезнью или утратой, а иногда может быть добровольным, но, несмотря на это, временная пауза часто является единственным, что может ускорить изменения на определенном уровне.

У одного из известных исследователей, Джона Мьюира, был именно такой опыт. Прежде чем стать естествоиспытателем, он работал контролером на вагонном заводе и время от вре-

мени что-нибудь изобретал. (Я подозреваю, он был озабочен производительностью, поскольку одно из его изобретений, рабочий стол, одновременно служил будильником и таймером, открывал книги на определенное время и закрывал их.) Уже увлекшись изучением ботаники, Мьюир временно ослеп в результате несчастного случая, что заставило его переосмыслить свои приоритеты. Он провел в затемненной комнате шесть недель, в течение которых не был уверен, сможет ли когда-нибудь снова увидеть свет.

Издание «Сочинений Джона Мьюира» 1916 года разделено на две части, одна до и другая после несчастного случая, каждая со своим введением, написанным Уильямом Фредериком Баде. Во втором введении Баде пишет, что в этот период размышлений Мьюир пришел к выводу, что «жизнь была слишком короткой и неопределенной, а время слишком драгоценным, чтобы тратить его на ремни и пилюли; что, пока он вкалывал на вагоностроительном заводе, Бог создавал мир, и он решил, если его зрение восстановится, посвятить остаток жизни изучению этого процесса». Сам Мьюир сказал: «Это несчастье привело меня к кисельным берегам».

Как выяснилось, мой отец пережил свой собственный так называемый период удаления, когда был в моем возрасте и работал техником в районе залива. Он устал от работы и решил, что накопил достаточно, чтобы все бросить и какое-то время жить очень скромно. Это продолжалось два года. Когда я спросила его, как он провел эти годы, отец сказал, что много читал, катался на велосипеде, изучал математику и электронику, ходил на рыбалку, беседовал со своим другом и соседом по комнате и сидел на холмах, где самостоятельно учился игре на флейте.

Через некоторое время отец понял, что собственный гнев по поводу работы и внешних обстоятельств влияет на него гораздо сильнее, чем он думал. Как он выразился: «Вы всегда наедине с самим собой и собственным дерьмом, и вам с этим жить». Но это время также научило его многому – он познал состояние творчества и открытости и, возможно, даже скуки или ничегонеделания. Мне вспоминается лекция Джона Клиза (из «Монти Пайтона») 1991 года о творчестве, в котором два из пяти обязательных факторов, которые он перечисляет, – это время:

1. Пространство.
2. Время.
3. Время.
4. Уверенность.
5. Утонченный юмор.

Итак, в конце концов отец огляделся в поисках другой работы и понял, что прошлая на самом деле была не так уж и плоха. К счастью, его без колебаний взяли обратно. Но поскольку отец открыл для себя нечто, необходимое для его собственного творчества, в этот раз все было уже совсем не так, как раньше. С новой энергией и взглядом на свою работу он прошел путь от техника до инженера и на настоящий момент имеет около двенадцати зарегистрированных патентов. По сей день он настаивает, что все лучшие идеи приходят к нему на вершине холма после долгой поездки на велосипеде.

Это натолкнуло меня на мысль, что, возможно, уровень детализации внимания, достигаемый вовне, распространяется и внутрь, так что по мере того как детали восприятия нашего окружения раскрываются удивительным образом, то же самое происходит и с нашим внутренним миром со всеми его сложностями и противоречиями. Мой отец сказал, что выход за привычные рамки заставил его понять свое отношение не только к работе, а к целому миру, и впредь после этого все, что происходило на службе, казалось ему лишь небольшой частью чего-то намного большего. Это напоминает мне, как Джон Мьюир называл себя не натуралистом, а «поэтом-бродягой-геологом-ботаником или орнитологом-натуралистом и т. д. и т. п.», или как Полина Оливерос описывала себя в 1974 году:

Полина Оливерос – двуногое существо, женщина, лесбиянка, музыкант и композитор среди всего прочего, что также способствует ее идентичности. Она сама по себе и живет со своим партнером... вместе со сборной солянкой из птиц, собак, кошек, кроликов и тропических раков-отшельников.

Конечно, есть очевидно слабое место во всем этом, и дело в том, что это все может быть обусловлено привилегиями. Я могу ходить в Розарий, смотреть на деревья и часто подолгу сидеть на холмах, потому что у меня есть преподавательская работа, которая требует, чтобы я была в кампусе только два дня в неделю, не говоря уже о целом ряде других привилегий. Одна из причин, по которой мой отец бросил работу, заключалась в его вполне обоснованной уверенности, что он сможет найти другую. Если вам посчастливилось работать там, где подобные привилегии есть, вполне возможно представить, что бездействие – это роскошь, позволяющая потворствовать своим желаниям, эквивалент психического здоровья.

Но здесь я возвращаюсь к «праву ничего не говорить» Делёза, и тот факт, что в этом праве отказано многим людям, не делает его менее важным или даже не правом. Еще в 1886 году, за десятилетия до того, как это было окончательно закреплено в законодательстве, рабочее в США настаивали на введении восьмичасового рабочего дня: «Восемь часов на работу, восемь часов на отдых и восемь часов на то, что мы хотим». На знаменитой эмблеме Федерации организованных торгов и профсоюзов Соединенных Штатов и Канады девиз соответствует трем временам дня: текстильщик на своем рабочем месте, ноги спящего, торчащие из-под одеяла, и пара в лодке на озере, читающая профсоюзную газету.

У этого движения даже была своя песня:

Мы хотим все исправить;  
Мы устали от бесполезного труда,  
Но достаточно бедны, чтобы жить:  
Ни часа на размышления.

Мы хотим наслаждаться солнечным светом;  
Мы хотим нюхать цветы;  
Мы уверены, что Бог пожелал этого,  
И хотим иметь восемь часов.

Мы собираем наши силы  
С верфи, цеха и мельницы:  
Восемь часов на работу, восемь часов на отдых,  
Восемь часов на то, что желаем мы!

Больше всего меня поразили вещи, связанные с категорией «Что мы хотим»: отдых, размышления, цветы, солнце. Это телесные, человеческие вещи, и я вернусь к этой телесности. Когда Сэмюэл Гомперс, возглавлявший рабочую группу, которая организовала эту конкретную итерацию восьмичасового движения, выступил с речью под названием «Чего хотят трудящиеся?», он провозгласил такой лозунг: «Нам нужна Земля во всей ее полноте». И мне кажется важным, что это не восемь часов, скажем, на «досуг» или «обучение», а «восемь часов на то, что мы хотим». Здесь может быть и досуг, и образование, наиболее правильный способ описать этот отрезок времени – отказаться от его определения.

Эта кампания была посвящена разграничению времени. Очень интересен и определенно тревожен тот факт, что упадок профсоюзов в последние несколько десятилетий произошел наряду с аналогичным упадком в демаркации общественного пространства. Настоящие обще-

ственные места, наиболее очевидными примерами которых являются парки и библиотеки, являются местом – и, следовательно, пространственной основой – того, «чего мы хотим». В общественном некоммерческом пространстве от вас ничего не требуется ни для того, чтобы войти туда, ни для того, чтобы задержаться там. Наиболее очевидное различие между общественным пространством и другими местами состоит в том, что вам не нужно ничего покупать или делать вид, что вы хотите что-то купить, чтобы быть там.

Сравним настоящее общественное место – городской парк – и искусственное общественное пространство, такое как Universal CityWalk, сквер на выходе из тематического парка Universal Studios. Поскольку он находится во взаимодействии и с тематическим парком, и с фактическим городским пространством, CityWalk располагается где-то посередине, почти как съемочная площадка, где посетители могут ощутить предполагаемое разнообразие городской среды, наслаждаясь чувством безопасности, которое является результатом ее фактической однородности. В своем эссе Эрик Холдинг и Сара Чаплин называют CityWalk «сценарным пространством», то есть пространством, которое исключает, направляет, контролирует, создает и организует его использование». Любой, кто когда-либо пробовал заниматься развлекательным бизнесом в искусственном публичном пространстве, знает, что такие места не просто создают сценарии действий, они контролируют их. В общественном пространстве в идеале вы – гражданин, обладающий свободой воли; в искусственном публичном пространстве вы либо потребитель, либо угроза его концепции.

Розовый сад – это общественное место. Это проект Works Progress Administration (WPA) 1930-х годов, и как и все проекты WPA, он был создан людьми, которых федеральное правительство нанимало на работу во время Великой депрессии. Каждый раз, увидев его величественную архитектуру, я вспоминаю истоки: этот Розарий, невероятное общественное благо, возник в результате программы, которая сама по себе была общественным благом. Тем не менее для меня не было ничего удивительного в том, что район, в котором находится Розарий, как я недавно узнала, в 1970-х годах чуть не превратился в кондоминиум. Я огорчена, но не удивлена. Я также не удивлена, что местным жителям потребовались согласованные усилия по изменению целевого назначения земли, чтобы этого не произошло. Причина в том, что подобные вещи, кажется, происходят всегда: пространства, которые считаются коммерчески непродуктивными, находятся под угрозой, поскольку то, что они «производят», нельзя измерить, использовать или даже попросту идентифицировать – несмотря на то что любой в округе может сказать, насколько огромную ценность представляет сад.

Я вижу аналогичную битву, разыгрывающуюся в настоящее время, колонизацию нас самих капиталистическими идеями производительности и эффективности. Можно сказать, что парки и библиотеки всегда можно превратить в кондоминиумы. В книге «После будущего» теоретик марксизма Франко «Бифо» Берарди связывает поражение рабочих движений в 1980-е годы с появлением идеи о том, что все мы должны быть предпринимателями. В прошлом, отмечает он, экономический риск был делом капиталиста-инвестора. Однако сегодня «мы все капиталисты»... И поэтому мы все должны рисковать... Основная идея состоит в том, что мы все должны рассматривать жизнь как экономическое предприятие, как гонку, в которой есть победители и проигравшие».

Описание Берарди рабочей силы будет знакомо любому, кто связан с личным брендом, как и любому водителю Uber, модератору контента, трудолюбивому фрилансеру, начинающей звезде YouTube или адъюнкт-профессору, объезжающему три кампуса за неделю:

В глобальной цифровой сети труд превращается в небольшие сгустки нервной энергии, собранные рекомбинирующей машиной... Рабочие лишены всякой индивидуальности. Собственно говоря, рабочих больше нет. **Их время существует, их время где-то рядом, они постоянно доступны для связи,** чтобы «производить» в обмен на временную зарплату.



(Выделено мной.)

Устранение экономической безопасности для трудящихся стирает эти границы – восемь часов на работу, восемь часов на отдых, восемь часов на то, что мы хотим, – так что у нас остается двадцать четыре потенциально монетизируемых часа, при этом зачастую не берется в расчет ни часовой пояс, ни период для сна.

В ситуации, когда каждый момент бодрствования стал временем, в которое мы зарабатываем на жизнь, и когда мы даже свой досуг проводим, занимаясь подсчетом лайков в Facebook и Instagram, постоянно проверяя курсы акций, отслеживая текущее развитие нашего личного бренда, время становится экономическим ресурсом, который мы больше не можем тратить впустую. Это не обеспечивает возврата инвестиций; это просто слишком дорого. Это жестокое слияние времени и пространства: так же как мы теряем некоммерческое пространство, мы рассматриваем все свое время и действия как потенциально коммерческие. Подобно тому как общественное пространство уступает место фальшивым торговым площадям или странным корпоративным приватизированным паркам, нам продают идею скомпрометированного досуга, бесплатного досуга, который очень далек от того, «что мы хотим».

В 2017 году, работая художником в интернет-архиве в Сан-Франциско, я провела много времени, просматривая рекламу в старых выпусках BYTE, журнала для любителей компьютерных технологий 1980-х годов. Среди неумышленно сюрреалистичных изображений – жесткий диск, подключенный к яблоку, мужчина, борющийся со своим настольным компьютером, или золотодобытчик из Калифорнии, держащий поддон компьютерных чипов и кричащий: «Эврика!» – я наткнулась на большое количество рекламы о компьютерах, главный посыл которой заключался в том, что они сэкономят ваше рабочее время. Больше всего мне понравилась реклама NEC, девиз которой был «Довести это до предела». В рекламе под названием «Энергетический ланч» изображен мужчина, печатающий на домашнем компьютере, на экране которого отображается гистограмма возрастающих значений. Он выпивает небольшой пакет молока, но его бутерброд остается нетронутым. Действительно, до предела.

Отчасти это изображение неприятно еще и тем, что мы знаем, чем эта история заканчивается; да, работать стало легче. Везде. Все время! В качестве экстраординарного примера возьмем Fiverr, сайт микрозадач, на котором пользователи продают различные задачи – в основном единицы своего времени – по пять долларов каждая. Эти задачи могут быть любыми: редактировать, снять видео, на котором они делают что-то по вашему выбору, или притворяться вашей девушкой на Facebook. Для меня Fiverr – это высшее выражение «фракталов времени и пульсирующих клеток труда» Франко Берарди.

В 2017 году Fiverr запустил рекламу, аналогичную рекламе NEC «Энергетический ланч», но без ланча. В этом кадре худощавый двадцатилетний мужчина пристально смотрит потухшими глазами в камеру, сопровождаемый следующим текстом: «У вас кофе на обед. Вы завершаете свою работу. Бессонница – ваш любимый наркотик. Вы можете быть деятелем». Здесь, по сути, высмеивается то, что вы даже тратите какое-то время на еду. В статье New Yorker, удачно озаглавленной «Гиг-экономика празднует работу до смерти», Джиа Толентино заключает после прочтения пресс-релиза Fiverr: «Это жаргон, с помощью которого каннибалистическая природа гиг-экономики прикрывается эстетикой. Никто не хочет кофе на обед или впадать в бессонницу, или отвечать на звонок клиента во время секса, как рекомендовано в рекламном видео (Fiverr)». Когда каждый момент становится рабочим, энергетический ланч определяет энергичный образ жизни.

Хотя наиболее ярко это выражено в таких вещах, как реклама Fiverr, подобное явление – метастазирование работы на протяжении всей остальной жизни – не ограничивается гиг-экономикой. Я узнала об этом за несколько лет работы в отделе маркетинга крупного бренда

одежды. В офисе было введено понятие «Results Only Work Environment»<sup>8</sup>, или ROWE, что означало упразднение восьмичасового рабочего дня и позволяло вам работать в любое время из любого места. Это прозвучало достаточно привлекательно, но что-то в названии меня беспокоило. В конце концов, что такое Е в ROWE? Если вы можете решать рабочие задачи в офисе, в машине, в магазине, дома после обеда – разве все это не «рабочая среда»? В то время, в 2011 году, у меня еще не было телефона с электронной почтой, а с введением этого нового рабочего дня я отложила его покупку еще надолго. Я точно знала, что произойдет в тот момент, когда им обзаведусь: что каждую минуту каждого дня я буду в ответе перед кем-то, даже если мой поводок будет намного длиннее.

Обязательно рекомендую прочитать книгу «Офис в стиле фанк. Манифест удаленной работы», написанную создателями ROWE, которая кажется хорошо продуманной, поскольку авторы попытались описать добросердечное ослабление рабочей модели «Сидеть в офисе с 9 до 17». Но меня, тем не менее, беспокоило, что в тексте сливаются воедино интересы, связанные и не связанные с работой. Они пишут:

Если у вас есть время на себя и на работу, вы можете жить и быть личностью, тогда вопрос, которым вы задаетесь каждый день, звучит не так: действительно ли мне сегодня нужно идти на работу? Но: как я могу внести свой вклад в то, что называется жизнью? Что я могу сделать сегодня, чтобы принести пользу своей семье, своей компании, себе?

По мне, слово «компания» в этой фразе лишнее. Даже если любишь свою работу! Если в вас или вашей работе нет чего-то особенного, что требует этого, нет ничего хорошего в том, что вы постоянно связаны, постоянно продуктивны, с того момента, как открываете глаза утром – и, по моему мнению, никто не должен принимать это ни сейчас, ни когда-либо. Как говорил Отелло: «Оставь меня побыть наедине с собой».

Эта постоянная связь – а также сложность сохранения внутреннего покоя – уже является проблемой, но после выборов 2016 года, казалось, она приобрела новые масштабы. Я видела, что средства, с помощью которых мы жертвуем нашим временем, аналогичны тем, с помощью которых мы терроризируем себя, используя информацию и дезинформацию с откровенно бесчеловечной скоростью. Очевидно, решение не в том, чтобы перестать читать новости, и даже не в том, чтобы не слушать людей, транслирующих эти новости. А в том, что мы могли бы использовать момент для изучения взаимосвязи между объемом внимания и скоростью обмена информацией.

Берарди, сравнивая современные тенденции в Италии с политическими агитациями 1970-х годов, говорит, что режим, в котором он живет, «не основан на подавлении инакомыслия и не основан на принуждении к молчанию. Напротив, он основан на распространении болтовни, бесполезности мнений и дискурса, а также на том, что мысли, несогласие и критика попросту становятся банальными и смешными». По его словам, случаи цензуры «довольно маргинальны по сравнению с тем, что по сути представляет собой огромную информационную перегрузку и реальную осаду внимания в сочетании с захватом источников информацииглавой компании».

Именно это финансово стимулированное распространение болтовни и невероятная скорость, с которой сейчас поднимаются волны истерии в сети, так сильно напугали меня и оскорбили мои чувства и разум как человека, живущего в телесном времени. Связь между полностью виртуальным и совершенно реальным, о чем свидетельствует что-то вроде Pizzagate<sup>9</sup> или

---

<sup>8</sup> Работа, основанная только на результатах труда.

<sup>9</sup> Теория заговора, согласно которой влиятельные сторонники Хиллари Клинтон связаны с тайной организацией педофилов. (Прим. ред.)

доксинга<sup>10</sup> и нападки на интернет-журналистов, глубоко, до основания тревожит меня на человеческом феноменологическом уровне. Знаю, по истечении нескольких месяцев после выборов многие люди поняли, что ищут «истину», я же чувствую, что упущена еще и реальность, то, на что я могла бы с уверенностью сказать: «Это действительно реально».

В разгар этого постэлекторального опустошения и беспокойства я все еще наблюдала за птицами. Не просто за всеми подряд птицами или отдельным видом, а за несколькими конкретными особями. Это была пара черноголовых ночных цапель, которые постоянно сидели за KFC у меня на районе почти круглые сутки. Если вы никогда их не видели, то ночные цапли более крупные по сравнению с прочими. Однажды мой парень описал их как «помесь пингвина и Пола Джаматти». В них есть сварливый стоицизм, они сидят сгорбившись, с полностью втянутой длинной шеей. Иногда я ласково называю этих птиц «полковниками» (из-за их местонахождения) или «моими драгоценными футбольными мячами» (из-за их формы).

Не задумываясь об этом, я изменила свой путь домой от автобуса, стараясь по возможности проходить мимо ночных цапель, просто чтобы убедиться, что они на месте. Помню, как чувствовала утешение от присутствия этих странных птиц, как будто могла вырваться из ужасного водоворота Twitter того дня, и они были там, неподвижные со своими грозными клювами и лазурно-красными глазами. (На самом деле я даже нашла их сидящими на том же месте в Google Street View 2011 года, не сомневаюсь, они были там и раньше, но Street View не дает просматривать прежние события.) KFC находится рядом с озером Мерритт, искусственным водоемом в полностью обустроенной зоне, которая, как и большая часть Восточного залива и полуострова, раньше была чем-то вроде болота, которое облюбовали цапли и кулики. Ночные цапли обитали здесь еще до того, как Окленд стал городом – своего рода пережитки болотного времени. Мне, знающей это, ночные цапли KFC стали казаться призраками, особенно ночью, когда уличные фонари подсвечивают снизу их белые животы.

Одна из причин, по которой ночные цапли все еще здесь, заключается в том, что они, как и вороны, не обращают внимания на людей, движение транспорта или случайные остатки обеда. Кстати, еще одни птицы, которым я стала уделять больше внимания, – вороны. Я только что закончила читать книгу Дженнифер Акерман «Эти гениальные птицы» и узнала, что вороны невероятно умны (во всяком случае, по человеческим меркам) и могут распознавать и запоминать лица людей. Было документально подтверждено, что они производили и использовали инструменты в дикой природе. Они также могут учить своих птенцов распознавать «хороших» и «плохих» людей: хорошие – это те, кто их кормит, а плохие – те, кто пытается их поймать или иным образом не угождает им. Они могут затаить обиду на целые годы. Всю свою жизнь я видела ворон, но теперь мне стало любопытно, какие из них живут со мной по соседству.

В моей квартире есть балкон, и я стала оставлять на нем несколько ядер арахиса для ворон. Долгое время арахис просто лежал нетронутым, и я чувствовала себя сумасшедшей. А потом время от времени стала замечать, что одного орешка нет, но не могла понять, куда он делся. Потом пару раз видела, как пролетающая ворона хватала один орешек и тут же уносила прочь. Так продолжалось какое-то время, пока, наконец, они не начали болтаться поблизости, на телефонном проводе. Одна птица стала прилетать каждый день примерно в то время, когда я завтракаю. Она устраивалась именно там, где я могла видеть ее, сидя за кухонным столом, и каркала, заставляя меня выйти на балкон с арахисом. Затем однажды вместе с ней прилетела птица поменьше, и я поняла: это ее птенец – он требовательно кричал, а она ухаживала за ним. Я назвала их Кроу и Кроусон.

---

<sup>10</sup> Публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия. (Прим. ред.)

Вскоре я обнаружила, что Кроу и Кроусон предпочитают, чтобы я бросала арахис с балкона – так они могли совершить причудливые ныряния с телефонной линии. Они исполняли виражи, бочки и петли, которые я снимала в замедленной съемке с озабоченностью гордого родителя. Иногда они больше не хотели арахиса и просто сидели и смотрели на меня. Однажды Кроусон следовал за мной полпути, когда я шла по улице. И, честно говоря, я провела много времени, глядя на них, – мне даже стало интересно, что могут подумать соседи. Но опять же, как и в случае с ночными цаплями, мне было комфортно в их обществе, как-то даже чересчур. Мне нравилось, что эти, по сути, дикие животные узнавали меня, что у меня было какое-то свое место в их вселенной и что, хотя я понятия не имела, чем они занимались всю оставшуюся часть времени, они появляются у меня каждое утро – и иногда я даже могу помахать им рукой издали.

Неизбежно я стала задаваться вопросом, что видят эти птицы, когда смотрят на меня. Предполагаю, они просто видят человека, который по какой-то причине обращает на них внимание. Они не знают, чем я занимаюсь, они не замечают изменений – для них существует лишь повторение, день за днем, неделю за неделей. И через них я могу посмотреть на себя со стороны, почувствовать себя человеческим животным, которым и являюсь, а когда они улетают, я будто по-другому вижу этот мир, охватывая его полностью, замечая форму холма, на котором живу, где есть высокие деревья и хорошие места для приземления. Я заметила, что часть стаи ворон обитает внутри Розария, а часть – снаружи, а потом поняла, что для них не существует никакого «розария». Этот инопланетный животный взгляд на себя и наше общее пространство позволил избавиться от тревоги и заставил вспомнить о моей собственной животности и одушевленности мира, в котором я живу. Их полеты в буквальном смысле пробуждают полет моей фантазии. Вспоминается вопрос, который один из моих любимых авторов, Дэвид Абрам, задает в книге «Становясь животным: земная космология»: «Действительно ли мы верим, что человеческое воображение может поддерживать себя, не пугаясь других форм чувствительности?»

Как бы странно ни прозвучало, это объясняет мою потребность посещать Розарий после выборов. Чего не хватало в этом сюрреалистическом и ужасающем виртуальном потоке, так это внимания к человеческому животному, сосуществующему в одном пространстве и времени с другими человеческими и нечеловеческими существами. Оказывается, заземленность требует *реальной земли*.

«Непосредственная чувственная реальность, – пишет Абрам, – во всей ее надчеловеческой загадочности остается единственным твердым пробным камнем для эмпирического мира, который сейчас наводнен электронно-генерируемыми видами и искусственными удовольствиями; только в регулярном контакте с осязаемой землей и небом мы можем научиться ориентироваться и разбираться в многочисленных измерениях, которые теперь претендуют на нас».

Осознав, я ухватила за это как за спасательный круг и не отпускала. *Это* реально. Ваши глаза, читающие этот текст, ваши руки, ваше дыхание, время дня, место, где вы это читаете, – все это реально. Я тоже настоящая. Я не аватар с подобранными предпочтениями и приглаженными мыслями. Я бугристая и пористая, я – животное, иногда мне больно, и я становлюсь другой день за днем. Я слышу, вижу и нюхаю вещи в мире, где другие тоже слышат, видят и нюхают меня. И нужен перерыв, чтобы вспомнить об этом: перерыв, чтобы ничего не делать, просто слушать, вспоминать, *что* мы такое, *когда* и *где* находимся.

Хочу прояснить, на самом деле я никого не призываю полностью прекратить что-то делать. Я считаю, что «бездействие» – отказ от продуктивности и перерыв, чтобы собраться с мыслями, – влечет за собой активное слушание, выявляющее последствия расовой, экологической и экономической несправедливости и ведущее к реальным изменениям. Я рассматриваю «бездействие» и как своего рода средство депрограммирования, и как способ поддержки для тех, кто чувствует себя слишком разобраным, чтобы действовать осмысленно. На этом

уровне практика бездействия может предложить несколько инструментов, когда дело доходит до сопротивления экономике внимания.

Первый инструмент связан с восстановлением. Здесь крайне важны промежутки для «безделья», потому что без них у нас нет возможности размышлять, исцелять и поддерживать себя – касается это личности или группы. В конце концов, нет никакой необходимости что-то делать. Когда чрезмерная стимуляция стала фактом жизни, я предлагаю переосмыслить #FOMO (Fear Of Missing Out<sup>11</sup>) как #NOMO (Necessity Of Missing Out), необходимость упускать что-то, или, если это вас беспокоит, #NOSMO (Necessity Of Sometimes Missing Out), необходимость иногда упускать что-то.

Это стратегическая функция ничегонеделания, и в этом смысле вы могли бы записать сказанное мной ранее под заголовком «Забота о себе». Но воспринимайте его в том активистском значении, какое имела в виду Одри Лорд, когда в 1980-х говорила, что «забота о себе – это не потакание своим слабостям, а самосохранение и акт политической борьбы». Это важное различие, которое необходимо проводить в наши дни, когда фраза «забота о себе» используется в коммерческих целях и рискует стать клише. Как выразилась Габриэль Мосс, автор *Glop: Nontoxic, Expensive Ideas That Will Make You Look Ridiculous and Feel Pretentious*<sup>12</sup> (книги-пародии на *Goop* Гвинет Пэлтроу с ее дорогостоящей велнес-империей), забота о себе «вот-вот перестанет иметь что-то общее с активистами и превратится в предлог для покупки дорогого масла для ванны».

Второй инструмент, который предлагает нам бездействие, – это обостренная способность слушать. Я уже упоминала Deep Listening, но на этот раз имею в виду более глубокое понимание друг друга. Ничего не делать – значит оставаться неподвижным, чтобы увидеть, что происходит на самом деле. Как сказал Гордон Хэмптон, эколог-акустик, записывающий естественные звуки природы: «Тишина – это не отсутствие чего-то, а присутствие всего». К сожалению, в связи с нашей постоянной занятостью в рамках экономики внимания, возможно, это то, что многие из нас (включая меня) уже забыли. Даже если оставить в стороне проблему фильтра интересов, онлайн-платформы, которые мы используем для общения друг с другом, не поощряют слушание. Вместо этого вознаграждаются крик и слишком простая реакция: «взять» после прочтения единственного заголовка.

Я уже упоминала о проблеме скорости, но дело не только в ней. На самом деле существует связь между 1) слушанием в Deep Listening, телесным чувством и 2) слышанием, поскольку я понимаю вашу точку зрения. Описывая распространение информации, Берарди делает особенно полезное различие между тем, что он называет связностью и чувствительностью. Связность – это быстрое распространение информации между совместимыми устройствами. Примером может служить статья, которая мгновенно и бездумно собирает кучу репостов в Facebook. Здесь вы либо совместимы, либо нет. Красный или синий, установите флажок. При такой передаче информации единицы измерения не меняются, как и информация.

Чувствительность, напротив, включает в себя трудную, неловкую, неоднозначную встречу между двумя различными телами, которые сами по себе неоднозначны, – и эта встреча, это ощущение требует времени и происходит во времени. Мало того, из-за приложенных усилий две сущности могут стать немного другими, нежели были до встречи.

Думая о чувствительности, я вспоминаю свою поездку с двумя другими художниками в чрезвычайно отдаленное местечко в Сьерра-Неваде. Ночью делать было особо нечего, поэтому мы с одной из художниц иногда сидели на крыше и наблюдали закат. Она – католичка со Среднего Запада, я – типичная атеистка из Калифорнии. У меня остались теплые воспоминания о неторопливых, замысловатых разговорах о науке и религии, которые мы вели там, наверху. И

---

<sup>11</sup> Страх упущенной возможности. (Пер. с англ.)

<sup>12</sup> Глоп: Нетоксичные, дорогие идеи, которые заставят вас выглядеть нелепо и чувствовать себя претенциозно. (Пер. с англ.)

что меня поражает, так это то, что ни одна из нас не пыталась переубедить другую, но дело не в этом – мы слушали друг друга, и каждая старалась понять позицию собеседника.

Таким образом, связность – это обмен или даже триггер; чувствительность – это личный разговор, приятный или трудный, или и то, и другое. Очевидно, что онлайн-платформы отдают предпочтение связности не только потому, что они подключены к сети, но и, возможно, ради прибыли, поскольку разница между связностью и чувствительностью – это время, а время – деньги. Опять же, слишком дорого.

С «исчезновением» тела исчезает и наша способность к эмпатии. Берарди указывает на взаимозависимость чувств и способности понимать смысл, «выдвигая гипотезу о связи между расширением инфосферы и разрушением сенсорной мембраны, позволяющей понимать то, что невозможно вербализовать, то, что нельзя свести к кодифицированным знакам». В среде онлайн-платформ «то, что невозможно вербализовать», считается избыточным или несовместимым, хотя каждая личная встреча учит нас важности невербального общения, не говоря уже о самом фактическом присутствии тела перед нами.

Но помимо заботы о себе и способности (действительно) слушать практика бездействия может предложить нам нечто более широкое: противоядие от риторики роста. В контексте здоровья и экологии беспрепятственный рост часто считается паразитическим или злокачественным. Тем не менее мы живем в культуре, которая отдает предпочтение новизне и росту через цикличность и возрождение. Само наше представление о производительности основано на идее создания чего-то нового, в то время как мы не склонны рассматривать поддержание жизненного баланса и уход как продуктивные в равной мере.

Самое время, чтобы упомянуть нескольких завсегдатаев Розария. Помимо дикой индейки Роуз и кота Грейсона (который сядет на вашу книгу, если вы пришли сюда почитать) всегда можно увидеть волонтеров, занимающихся обслуживанием парка. Их присутствие напоминает о том, что Розарий прекрасен отчасти потому, что о нем заботятся, и нужно приложить все усилия, чтобы спасти его от превращения в кондоминиум или просто чтобы розы выросли в следующем году. Волонтеры усердны, и я часто вижу, как посетители подходят к ним и благодарят за работу.

Глядя, как они рвут сорняки и укладывают шланги, я часто думаю о художнице Мирл Ладерман Юклс. Среди ее работ – «Мойка/Треки/Обслуживание: Взгляд снаружи», перформанс, в котором она мыла ступеньки художественной галереи Уодсворт Атенеум, и «Сенсорная санитария», когда Юклс одиннадцать месяцев пожимала руки и благодарила восемь с половиной тысяч работников санитарных служб Нью-Йорка, в дополнение к интервьюированию и погружению в их профессию. На самом деле с 1977 года она постоянно находится на положении свободного художника в Департаменте санитарии Нью-Йорка.

Интерес Юклс к «обслуживанию» частично был вызван тем, что она стала матерью в 1960-х. В интервью она объяснила: «Быть матерью означает, что нужно выполнять массу повторяющихся дел. Я стала подсобным рабочим. Я чувствовала себя совершенно оставленной своей культурой, потому что в ней не было возможности получить дополнительную работу». В 1969 году она написала «Манифест обслуживания искусства», в котором рассматривает демонстрацию работы по обслуживанию как искусство. Она говорит: «Я буду жить в музее и делать то, что обычно делаю дома для мужа и ребенка, во время выставки... Работа будет моим творчеством». Ее манифест начинается с описания различий между тем, что она называет силой смерти и жизненной силой:

#### I. ИДЕИ

##### A. Инстинкт смерти и инстинкт жизни:



Инстинкт смерти: разлука, индивидуальность, авангард по преимуществу; идти своим путем – заниматься своим делом; динамическое изменение.

Инстинкт жизни: объединение; вечное возвращение; увековечение и ПОДДЕРЖАНИЕ вида; системы выживания и операции, равновесие.

Жизненная сила связана с цикличностью, заботой и возрождением; сила смерти означает для меня «разрушение». Очевидно, определенное количество и того, и другого необходимо, но одно обычно превалирует, не говоря уже о маскулинизации, в то время как другое остается в тени, потому что не участвует в «прогрессе».

Это подводит меня к последнему удивительному аспекту Розового сада, на который я впервые обратила внимание, прогуливаясь по центральной аллее: ряды указателей с цифрами (означающими десятилетия), вогнанных в бетон по обе стороны, а между ними были таблички с именами женщин – по десять на каждое десятилетие. Как оказалось, каждая из женщин была признана «матерью года» жителями Окленда. Чтобы быть удостоенной этой чести, нужно «вне-сти вклад в улучшение жизни жителей Окленда – через дом, работу, общественные услуги, волонтерские усилия или их сочетание». В старом документальном фильме об Окленде 1950-х я нашла кадры церемонии объявления «матери года». После серии крупных планов на фоне разнообразных роз кто-то вручает пожилой женщине букет и целует ее в лоб. И в течение нескольких дней в мае прошлого года в парке царил необычный оживление: множество волонтеров приводили все в порядок, подкрашивали предметы. Мне потребовалось время, чтобы понять, что они готовятся к чествованию «матери года – 2017», Малии Луизы Лату Саулала, прихожанки местной церкви.

Я упоминаю об этом празднике в контексте поддерживающей и защищающей деятельности – но не думаю, что нужно быть матерью, чтобы испытать материнский импульс. В конце потрясающего документального фильма 2018 года «Будешь моим соседом?» о Фреде Роджерсе<sup>13</sup> (он же мистер Роджерс) мы узнаем, что в начале своего выступления Роджерс просил аудиторию сесть и подумать о ком-то, кто помогал им, верил в них и хотел сделать лучше для них. Затем создатели фильма просят интервьюируемых сделать то же самое. Сначала голоса, которые слышались нам за последний час или около, смолкают; одно за другим мы видим лица интервьюируемых, каждый из которых думает, глядя вверх камеры. Судя по количеству притихших зрителей в кинотеатре, где я смотрела этот фильм, многие в зале также думали о своей собственной матери, отце, братьях и сестрах, друзьях. Обращение Роджерса во вступительной речи получило отклик: мы все знакомы с феноменом бескорыстной заботы по крайней мере на протяжении какой-то части нашей жизни. Это явление не исключение; оно лежит в основе того, что определяет человеческий опыт.

Размышления о поддержке и заботе о родных также возвращают меня к любимой книге «Рай, построенный в аду: необычные сообщества, возникающие в результате бедствий», в которой Ребекка Солнит развенчивает миф о том, что в подобных обстоятельствах люди отчаиваются и становятся эгоистичными. На примерах – от землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году до урагана «Катрина» – она подробно рассказывает об удивительной находчивости, сочувствии, а иногда даже юморе, возникающих в сложных обстоятельствах. Некоторые из ее собеседников говорят, что испытывают странную тоску по этим временам с характерными для них целеустремленностью и взаимовыручкой. Солнит предполагает, что настоящая катастрофа – это повседневная жизнь, отчуждающая нас друг от друга и от защитного импульса, который мы таим.

---

<sup>13</sup> Фред Роджерс – педагог и известный ведущий детской телепередачи «Наш сосед мистер Роджерс», выходившей в США с 1961 по 2001 год.

И по мере того как с годами мое знакомство с воронами и любовь к ним растут, мне приходит на ум, что нам даже не нужно ограничивать это чувство пределами человеческого рода. В своем эссе «Антропоцен. Капиталоцен. Плантациоцен. Ктулуцен: создание племени» Донна Дж. Харауэй напоминает нам, что слово *родственники* в британском английском означало «формальные связи» до XVII века, затем оно было заменено на «члены семьи». Харауэй меньше интересуется людьми и их генеалогией, чем различными типами существ, в симбиотических конфигурациях поддерживаемых за счет практической помощи, – призывая нас «заводить родню, а не детей!». Ссылаясь на каламбур Шекспира по поводу kin и kind<sup>14</sup>, она пишет: «Я думаю, что расширение круга и перестановка родственников допускаются, поскольку все земляне – родственники в самом глубинном смысле, и пора проявлять заботу о всех видах в совокупности (а не о каждом виде по отдельности). Kin в собирательном смысле слова».

Учитывая все сказанное, я предлагаю занять защитную позицию по отношению к себе, друг к другу и всему, что осталось от того, что делает нас людьми, включая союзы, поддерживающие и порой удивляющие нас. Я предлагаю защищать наше *пространство* и *время* для неинструментальной, некоммерческой деятельности и размышлений, для сохранения, для восстановления, для праздника. И я предлагаю яростно защищать человечество от всех технологий, пренебрегающих нашим телом, телами других существ и телом ландшафта, в котором мы живем. В «Становясь животным: земная космология» Абрам пишет, что «все наши технологические утопии и мечты о машиноопосредованном бессмертии могут зажечь разум, но не могут прокормить тело. Действительно, большая часть трансцендентных технологических взглядов, присущих нашей эре, остаются мотивированными страхом за наше тело с мириадами его уязвимостей, страхом перед плотским вторжением в окружающий мир, в конечном счете неподвластный нашему контролю, – нашим насилием над дикой природой, которая питает и поддерживает нас».

Некоторые люди хотели бы жить дольше или вечно с помощью технологий. Как ни странно, это желание прекрасно иллюстрирует влечение к смерти в «Манифесте обслуживания искусства» («разделение, индивидуализм, лидерство по преимуществу; следование своим собственным путем – занятие своим личным делом; динамическое изменение»). Таким людям я смиренно предложила бы гораздо более экономный способ жить вечно: покинуть траекторию продуктивного времени, чтобы единственный момент раздвинуть почти до бесконечности. Как однажды сказал Джон Мьюир: «Самая длинная жизнь – это та, которая приносит наибольшее удовольствие от отсутствия ощущения времени».

Конечно, для бизнеса такое решение неприемлемо и не может считаться инновационным. Но, сидя в чаше Розового сада, в окружении различных человеческих и нечеловеческих существ, населяющих реальность, переплетенную мириадами телесных чувств, помимо моих, – действительно, сами границы моего тела определяются запахом жасмина и свежей ежевики, – я смотрю на свой телефон и задаюсь вопросом: это ли не камера сенсорной деприкации? Этот крошечный светящийся мир показателей не может сравниться с тем, который взамен говорит со мной языком ветра, света и тени, с его неуправляемыми, неопишуемыми подробностями реальности.

---

<sup>14</sup> В «Гамлете» Шекспира есть строчка: «A little more than kin and less than kind», один из переводов которой может быть таким: «Больше, чем родственник, но меньше, чем сын».

## Глава 2

### Невозможность отступления

*Многие люди уходят из общества ради эксперимента... И я решила тоже уйти и посмотреть, насколько это будет поучительно. Но обнаружила, что это не так. Я думаю, нужно оставаться в гуще жизни.*  
**АГНЕС МАРТИН**

Если бездействие требует пространства и времени вдали от неумолимого ландшафта деятельности, можно было бы подумать, что в ответ нужно повернуться спиной к миру – ненадолго, для нашего же блага. Но такой ответ был бы недальновидным. Слишком часто такие вещи, как бегство от цифровой интоксикации, оказываются своего рода лайфхаком для повышения производительности после нашего возвращения на работу. Также желание навсегда со всем этим попрощаться не просто игнорирует нашу ответственность перед миром, в котором мы живем, но и в значительной мере невыполнимо и не случайно.

Прошлым летом я ненамеренно организовала собственное бегство от цифровой интоксикации. Я в одиночку отправилась в поездку в Сьерра-Неваду, чтобы работать над проектом о реке Мокелумне, а в забронированной мною хижине не было сотовой связи и Wi-Fi. Поскольку это стало для меня полной неожиданностью, я не предупредила никого, что буду офлайн следующие несколько дней, и не отвечала на важные электронные письма, не скачивала музыку. Когда я оказалась в одиночестве в своей хижине, мне потребовалось около двадцати минут, чтобы перестать волноваться по поводу всего этого.

После краткого приступа паники я была удивлена, обнаружив, как быстро это перестало меня волновать. Мало того, я была очарована тем, как выглядел мой бездействующий телефон; он больше не был порталом для тысячи других мест, устройством, потенциально являющимся источником беспокойства, или даже просто средством связи. Этот прямоугольный металлический предмет не нарушал тишины и казался обычным, как свитер или книга. Им можно было пользоваться только как фонариком и часами. С новообретенным душевным спокойствием я работала над своим проектом, не отвлекаясь на звонки и сигналы, которые иначе заставляли бы светиться этот крошечный экран каждые несколько минут. Безусловно, это дало мне неоценимый новый взгляд на то, как я использую технологии. Но хотя такое отшельничество с отказом от всего легко было романтизировать, я понимала, что в конце концов нужно будет вернуться домой, где меня ждал остальной мир, а настоящая работа еще предстояла.

Этот опыт заставил меня подумать о Леви Феликсе, одном из первых сторонников цифрового детокса. Повествование Феликса – архетипическая история не только о техническом выгорании, но и о том, что житель Запада как бы оказывается в условиях Востока. В 2008 году в возрасте двадцати трех лет Феликс, будучи вице-президентом стартапа в Лос-Анджелесе, работал по семьдесят часов в неделю, когда был госпитализирован из-за осложнений, вызванных стрессом. Осознав, что это тревожный сигнал, он отправился в Камбоджу с Брук Дин, своей девушкой, а позже женой; вместе они отключили свои гаджеты и погрузились в сосредоточение и медитацию с буддийским оттенком. На обратном пути Феликс и Дин обратили внимание, что «каждый ресторан, каждый бар, каждое кафе, автобус, метро были заполнены людьми, смотрящими на свои экраны». Стремясь поделиться состоянием сосредоточенности, открытым для себя за границей, они организовали Camp Grounded, летний лагерь цифровой детоксикации для взрослых в Мендосино, Калифорния.

Особую опасность Феликс видел в привычном использовании бытовой техники. Хотя он не отказывался от технологий полностью, утверждая, что «компьютерщик, а не луддит», но думал, что люди могут по меньшей мере научиться более здоровому отношению к ним.

«Мне хотелось бы видеть больше людей, смотрящих в глаза друг другу, а не на экраны гаджетов», – говорил он. Прибывая в лагерь Camp Grounded, участники проходили через «культовую палатку для технической проверки Международного института цифровой детоксикации», где давали клятву, затем смотрели пятиминутное видео с участием марионеток в носках и отдавали свои телефоны сотрудникам лагеря в защитных костюмах, которые запечатывали их в пластиковые пакеты с надписью «биологическая опасность». Они соглашались с набором правил:

- нет цифровых технологий;
- нет сети;
- нет телефонов и интернета;
- нет переговорных устройств;
- нет часов;
- нет босса;
- нет стресса;
- нет беспокойства;
- нет FOMO (страха упущенной возможности).

Вместо этого участники могли выбрать любое из пятидесяти равноценных дел, например «приготовление трюфелей, терапия объятиями, маринование, прогулки на ходулях, йога смеха, резьба по солнечному свету, хор Ruja Ma Brunch, творческое письмо на пишущих машинках, стендап-комедия, стрельба из лука». Все это требовало тщательного планирования. Вспоминая о Феликсе, скончавшемся в 2017 году от рака мозга, Смайли Посволски пишет, что «по ночам Леви часами (в буквальном смысле) вместе с рабочим персоналом ходил по лагерю, заботясь о том, чтобы каждое дерево было идеально освещено и все могли почувствовать магическую силу бытия на природе».

Эстетика и философия проекта Леви Феликса, атмосфера веселья и сумасбродства, царящая в лагере, были особенно отмечены организаторами фестиваля Burning Man. И действительно, Феликса в буквальном смысле можно назвать «Горящим человеком». Посволски с теплотой вспоминает, как Феликса пригласили выступить вместе с Деннисом Кусиничем в IDEATE, лагере Burning Man. Феликс воспользовался возможностью проповедовать:

Леви, глотнув текилы, сделал себе «Кровавую Мэри» и в белом платье и розовом парике подошел и начал говорить. Сорок пять минут он рассказывал о важности отключения от технологий, в то время как на заднем фоне наш друг Бен Мэдден играл на синтезаторе Casio. Я не могу точно вспомнить, что говорил Леви тем утром, так как был с перепоя, но все, кто был там, утверждали, что это была одна из самых вдохновляющих речей, которые они когда-либо слышали.

В последнее время многие отмечали, что Burning Man уже не тот, что был раньше. Действительно, там нарушается большинство правил, установленных Леви для собственного эксперимента. Фестиваль, начинавшийся с разведения костра на пляже Бейкер в Сан-Франциско в 1986 году, еще до переезда в пустыню Блэк-Рок, стал аттракционом для либертарианской технической элиты, как хорошо выразила это Софи Моррис в названии своей статьи о фестивале: «Burning Man: от отвязного фрикфеста до корпоративной тусовки». В 2015 году Марк Цукерберг отличился тем, что прибыл на Burning Man на вертолете и раздавал тосты с сыром, поджаренные на гриле, в то время как прочие боссы Кремниевой долины наслаждались искусством поваров мирового класса и жили в юртах с кондиционерами. Моррис цитирует директора по бизнесу и коммуникациям фестиваля, который определенно характеризует Burning Man как «что-то вроде корпоративного пикника. Это мероприятие своего рода тигель, скороварка, место, где можно найти новые идеи или завязать знакомства».

Хотя Феликс с Посволски и были людьми старой закалки, презиравшими корпоративные юрты с кондиционерами, после смерти Леви направление развития Camp Grounded круто изменилось. Первоначально настаивая на том, что лагерь не является сетевым мероприятием, учредительная организация Digital Detox в какой-то момент стала предлагать корпоративные отступления для таких компаний, как Yelp, VMware и Airbnb. Представители Digital Detox связывались с компаниями сами, предлагая «перерыв», «детские игры» и «детский сад», частные варианты мероприятий, проводившихся в лагерях. Они предложили вид бессрочного размещения – представители могут приходить ежеквартально, ежемесячно или даже еженедельно, используя лагерь как корпоративный объект вроде спортзала или кафетерия. И хотя слово «продуктивный» нигде на веб-сайте Digital Detox не встречается, можно сделать вывод, какие преимущества получает компания:

Корпоративный отдых даст людям свободу и возможность по-настоящему расслабиться и отключиться, обеспечив им творческое вдохновение, новые перспективы и личный рост.

Мы поможем вашей команде разработать инструменты и стратегии, которые позволят сбалансировать их повседневную жизнь с помощью методов, направленных на то, чтобы постоянно держать их на связи даже в самые напряженные или тяжелые времена.

Но что вызывает особую иронию, так это использование базовых истин, с которых начинал Феликс как законченный трудоголик. Он нашел ответ – отпуск на выходные, позволяющий не только восстановить силы для будущей работы, но и полностью переосмыслить приоритеты; предположительно это и случилось с ним во время путешествия. Другими словами, цифровое безумие было отравой не потому, что делало людей менее продуктивными, но потому что уведило их от единственной жизни, которой они должны были жить. Посволски пишет об их первом открытии: «Я думаю, что универсальный ответ, найденный нами, был очень прост: просто проводить больше времени с друзьями».

Это может объяснить, почему Феликс в конце концов начал подумывать об уходе с проекта. В своем панегирике Посволски говорит, что Феликс «устал от стресса и суеты Camp Grounded и мечтал переехать на красивую ферму где-нибудь в лесу, где мог бы весь день с Брук просто слушать музыку». Он также вспоминает, как Феликс иногда говорил о покупке земли в Северной Калифорнии. Еще дальше от города, чем в старом Camp Grounded, это новое убежище позволило бы им делать все, что они хотели, в том числе и бездельничать: «Мы могли бы просто расслабиться и смотреть на деревья».

Мечта Феликса о бегстве напоминает известную с давних пор реакцию на неудавшееся начинание: уйти и найти нечто, что позволит начать все заново. В отличие от горных отшельников Восточной Азии или отцов-пустынников, забредших в пески Египта, эта мечта предполагает не только отказ от общества, но и попытку построить иное вместе с другими, хотя бы в миниатюре.

Одним из самых ранних примеров такого подхода является Сад Эпикура – школа, созданная в Греции в IV веке до нашей эры. Эпикур, сын школьного учителя, был философом, считавшим счастье и неторопливое созерцание самой высокой целью в жизни. Он также ненавидел город, называя его местом, где процветали оппортунизм, коррупция, политические махинации и военная бравада, – местом, где Деметрий Полиоркет, диктатор Афин, мог обложить многотысячным налогом сотни граждан только потому, что его любовнице понадобилось мыло. Вообще Эпикур заметил, что люди в современном обществе бегали по кругу, не подозревая о причине своего несчастья:

Всюду можно видеть мужчин, потворствующих пустым желаниям и не заинтересованных в хорошей жизни. Глупцы и дураки никогда не довольствуются тем, чем обладают, а только оплакивают то, чего не могут иметь.

Эпикур решил купить сад на сельской окраине Афин и основать там школу. Как и Феликс, он хотел создать место, которое было бы убежищем и лечебницей для людей, посетивших его, хотя в случае Эпикура посетителями были его ученики, которые жили там постоянно. Определяя счастье как атараксию (говоря просто, «отсутствие проблем»), Эпикур обнаружил, что «беда» обеспокоенного ума возникала из-за лишнего умственного багажа в виде безудержных желаний, амбиций, страха. Для избавления от них он предложил простое средство: расслабленное созерцание в кругу сообщества, отвернувшегося от большого города. «Живите незаметно», – предписывал Эпикур своим ученикам, которые предпочли занятию гражданскими делами выращивание плодов в саду себе в пищу, разговоры и размышления посреди огорода. Фактически учение Эпикура, как и его школа, на протяжении почти всей жизни философа оставалось малоизвестным в Афинах. И это было благом, так как Эпикур считал, что «полную безопасность дает только тихая и уединенная жизнь».

Это совершенно противоположно современной трактовке смысла слова «эпикурейство», что часто ассоциируется с удовольствиями и обильной едой, тогда как Эпикур учил, что человеку на самом деле нужно очень мало, чтобы быть счастливым, – прибегать к разумному ограничению своих желаний. Не случайно это напоминает идеи отвлеченности или непривязанности в восточной философии. До основания своей школы Эпикур читал Демокрита и Пиррона, про которых известно, что они оба тяготели к гимнософистам или «обнаженным мудрецам» Индии. Конечно, можно услышать отголоски буддизма в предписании Эпикура для души: «Ни беспокойство души не может быть прекращено, ни истинная радость не может быть создана ни владением величайшим богатством или честью и уважением в глазах толпы или чем-либо еще, что является причиной неограниченного желания».

Школа Эпикура стремилась освободить своих учеников не только от желаний, но и от страха, связанного с суевериями и мифами. Учение включало эмпирическую науку для быстрого снятия беспокойства по поводу мифических богов и монстров, которые, как считалось, управляют погодой или, что особенно важно, удачей в жизни. В этом смысле школа напоминала не только Camp Grounded, но и любой центр лечения от наркозависимости. В школе Эпикура ученики «лечились» от безудержных желаний, ненужного беспокойства и иррациональных верований.

Сад Эпикура отличался от других школ важными особенностями. Поскольку только сам человек мог решить, «излечился» он или нет, атмосфера была неконкурентной, и студенты оценивали себя сами. И школа Эпикура активно создавала сообщество иного типа: Сад был единственной школой, куда принимали не греков, рабов и женщин (в том числе гетер, или профессиональных куртизанок). Вход был свободный. Отмечая, что на протяжении большей части истории человечества образование было привилегией, разграничиваемой по классам, Ричард В. Хиблер пишет:

В Саду не было ничего традиционного для большинства школ того времени. Например, приветствовался любой человек, проявивший рвение к тому, чтобы научиться жить в атмосфере утонченных удовольствий. Братство было открыто для всех полов, национальностей и рас; богатые и бедные сидели бок о бок с «варварами», к которым относились рабы и не греки. Женщины, открыто щеголявшие тем, что когда-то были проститутками, приходили и присоединялись к мужчинам всех возрастов в поисках эпикурейского счастья.

Это тем более важно, если учесть, что ученики школы не были в изоляции. Они сбежали из города, но не от других людей – сама дружба была предметом изучения, требованием для того вида счастья, которому учили в школе.

Эпикур не был ни первым, ни последним, кто искал убежище в деревне. Действительно, эпикурейская программа – когда группа людей выращивает овощи и сосредоточена на отдыхе, наводящем на мысли о Востоке, – многим из нас покажется знакомой. Хотя подобные эксперименты повторялись не раз на протяжении истории, Сад Эпикура больше всего напоминает мне коммуны 1960-х годов, когда тысячи людей решили отказаться от современного стиля жизни и попытаться быть свободными. Конечно, пламя этого движения вспыхнуло ярче и горело не так долго, если сравнивать со школой Эпикура. Но в те дни, когда я была охвачена желанием перебраться в горы Санта-Круз и выбросить телефон в океан в Сан-Грегорио, – не особенно задумываясь о реальности этого, – я считала разные судьбы коммун 1960-х особенно поучительными.

Во-первых, если обратиться к относительно недавней версии этого эксперимента, коммуны иллюстрируют проблемы с любым воображаемым побегом от СМИ и влияния капиталистического общества, включая роль привилегий. Во-вторых, они показывают, как легко воображаемый аполитичный «чистый лист» приводит к технократическому решению, в котором дизайн заменил политику, по иронии предвещая либертарианские мечты магнатов технологий Кремниевой долины. Наконец, их желание порвать с обществом и СМИ – исходя из чувств, которым я могу симпатизировать, – в конечном счете напоминает не только о невозможности такого разрыва, но и об ответственности перед тем же обществом. Это напоминание открывает путь к форме политического отказа, уходящего не в пространство, а в сознание.

Сейчас многое кажется никуда не годным, но некоторые скажут, что ушедшие 1960-е были еще хуже: Никсон был президентом, война во Вьетнаме была в разгаре, Мартин Лютер Кинг-младший и Роберт Кеннеди убиты, а невооруженные протестующие студенты расстреляны в штате Кент. Признаки экологического разрушения накапливались, и крупномасштабные городские проекты редевелопмента и автострады разрушали структуру «испорченных» этнических кварталов. В то же время успешной считалась жизнь в белом пригороде, в доме с гаражом на две машины. Для молодых людей это выглядело притворством, и они были готовы пуститься в бегство.

В период с 1965 по 1970 год по всей стране сформировалось более тысячи общинных групп. Писатель Роберт Урие, посетивший пятьдесят американских «экспериментальных коммун» между 1968 и 1970 годами, описал это движение как «инстинктивную реакцию поколения», которое не видело другого способа сопротивляться:

Стране, которая, казалось бы, укоренилась в своих интересах, была неспособна к изменениям и не замечала опасности внутри себя, они сказали: «Пошла ты на...» – и ушли. Если бы города были необитаемыми, а пригороды – пластиковыми, им все равно пришлось бы где-то жить. Если дух человеческого сообщества и культура умерли в городской Америке, им пришлось бы создавать свои собственные.

Бежавшие в коммуны приняли антиисторический взгляд на время; согласно Урие, коммуны относительно мало знали об истории утопических экспериментов – возможно, даже о Саде Эпикура. Но этого, пожалуй, и следовало ожидать от тех, кто отчаянно ищет полного разрыва со всем окружением. Урие пишет, что беглецы «не успели оценить исторические параллели или тщательно построить планы на будущее... Их бегство было безрассудным». В конце концов, это были не 1960-е; это была эпоха Водолея, выход из времени и шанс начать все с нуля:

Где-то на исторической линии цивилизация сделала ошибочный поворот, который привел в тупик. Единственный путь, который открылся им, подсказывал, что нужно бросить учебу и вернуться к началу, к первоисточнику сознания, истинной основе культуры: земле.

В своем описании коммуны Дроп-Сити в книге с таким же названием резидент Дроп-Сити Питер Рэббит приводит общий план: «Приготовь немного хлеба, купи участок земли, сделай землю свободной и начни восстановление экономической, социальной и духовной структуры снизу вверх». Однако он добавляет, что «никто из них не догадывался, что они этим занимаются... Мы просто думали, что бросаем учебу».

Некоторые коммуны, которые посетил Урие во время своего тура, сохраняли жизнеспособность на протяжении нескольких лет и более; другие, о которых он слышал, развалились к тому времени, когда он прибыл. В старом курортном отеле в Катскилл Урие нашел всего двух человек, и те собирались уходить. В одной из спален он обнаружил матрас, ящик, огрызок свечи и несколько тараканов в пепельнице. «Они сожгли всю свою мебель и выкурили остатки травы. На стене послание маркером – эпитафия несуществующего сообщества: ПЕРЕМЕНЫ НАВСЕГДА».

Общим для коммун был поиск «хорошей жизни», опыт сообщества, противопоставленного конкурентной и эксплуататорской системе, которую они отвергли. Вначале некоторые были вдохновлены идеями современного анархизма, изложенными в книге Пола Гудмана «Взросление абсурда: проблемы молодежи в организованной системе». В ней Гудман предложил заменить капиталистические структуры децентрализованной сетью индивидуальных сообществ, разумно использующих новые технологии и поддерживающих себя плодами надомного производства.

Понятно, что в Америке 1960-х это оказалось гораздо легче сказать, чем сделать, и у большинства общин сложились неприятные отношения с капиталистическим окружением. В конце концов, надо было выплачивать ипотеку и растить детей, а большинство коммун не могло и себя пропитанием обеспечить. Даже если они были за чертой города, то все еще находились в Америке. Чтобы справиться, многим участникам пришлось продолжать работать на прежнем месте, а некоторые коммуны полагались на социальное обеспечение. Эkleктичное меню в High Ridge Farm в Орегоне иллюстрировало эту разнообразную потребительскую корзину. Среди множества банок с домашними заготовками, по словам Урие, встречались дорогие продукты из магазинов органической еды и товары, подаренные Министерством сельского хозяйства США (например, сыры). Наряду с «экзотическими салатами с брюссельской капустой и кольраби у них был фарш или карри из индейки, пожертвованные в последний День благодарения Департаментом социального обеспечения».

Как бы ни хотелось им порвать с капиталистическим обществом, ускользнув от него, они ощущали на себе его влияние как неизлечимую болезнь. Описывая в 1971 году дом-коммуну в Филадельфии, Майкл Вайс говорит, что все восемь членов группы были «более или менее антикапиталистами» и надеялись, что коммуна предложит альтернативу в виде равного распределения богатства. Но поскольку вклад некоторых членов намного превосходил вклад остальных, они согласились на компромисс: каждый человек должен был вносить в домовый фонд только половину своих доходов. Но даже с учетом этого, пишет Вайс, для всех разговоров о деньгах характерны «самозащита, самоуправство, неопытность в дележе и страх поступиться привычными удобствами и удовольствиями ради групповых интересов». В общине первый же «денежный кризис» заканчивается не дефицитом, а обидой, когда один из более богатых членов возвращается домой в пальто за шестьдесят долларов. Пальто становится причиной продолжительного митинга на тему классового сознания, который, как и многие другие, случавшиеся в Living Together, не приводит ни к какому решению.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.